
Александр Городницкий



Воспоминания
старого
островитянина

«Атланты держат небо...»

Александр Городницкий

**«Атланты держат
небо...». Воспоминания
старого островитянина**

«Яуза»

2020

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Городницкий А. М.

«Атланты держат небо...». Воспоминания старого островитянина /
А. М. Городницкий — «Яуза», 2020

ISBN 978-5-00155-191-1

«Атланты держат небо на каменных руках...» – эта песня стала настоящим гимном «шестидесятников», а сам Александр Городницкий – живым классиком и одним из основоположников жанра наряду с Владимиром Высоцким, Булатом Окуджавой, Александром Галичем, Юрием Визбором. Однако эта книга – больше чем мемуары прославленного барда. Будучи ученым с мировым именем, заслуженным деятелем науки РФ, главным научным сотрудником Института океанологии Российской академии наук, Александр Городницкий объездил весь мир, плывал по всем океанам, много раз погружался на морское дно в подводных обитаемых аппаратах (в том числе и на глубины более четырех километров), был на Северном полюсе и в Антарктиде, участвовал в поисках легендарной Атлантиды. Александр Моисеевич не случайно называет себя «островитянином» – родившись на Васильевском острове, он высаживался на берега множества островов – от Ямайки и Гваделупы до Новой Земли, Бермуд и острова Пасхи. Обо всем этом – о научных экспедициях и дальних странствиях, сенсационных открытиях и незабываемых встречах, о стихах и песнях, довоенном детстве и Блокаде, переломах истории и смене эпох – Александр Городницкий рассказал в этой книге.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00155-191-1

© Городницкий А. М., 2020

© Яуза, 2020

Содержание

Предисловие	7
Васильевский остров	9
Блокадный метроном	25
Новая Голландия	44
Отечество нам – горный институт	64
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Александр Моисеевич Городницкий

Атланты держат небо: Воспоминания старого островитянина

© Городницкий А.М., 2020

© ООО «Яуза-каталог», 2020

© ИП Петровский И.В., 2020

Предисловие

Моя память с возрастом, как и слабеющее зрение, делается дальнозоркой – я начисто забываю события недавних дней и неожиданно для себя отчетливо вижу разрозненные картинки довоенного детства. Так, например, мне ясно вспоминается, как в 1936 году с Андреевского собора, неподалеку от которого стоял наш дом на Васильевском острове, срывали кресты. Примерно в то же время была взорвана часовня Николая Морского на мосту Лейтенанта Шмидта, до революции носившем название Николаевский в честь императора Николая I. Но то ли постройка была крепкой, то ли взрывчатку пожалели, а вышло так, что распалась она на три большие части, которые долго потом разбирали вручную. На освободившемся месте собирались установить памятник лейтенанту Шмидту, руководителю восстания на крейсере «Очаков» во время революции 1905 года, но помешала война. Отец рассказывал, что мы с ним как-то проходили мимо взорванной часовни и я спросил у него: «Папа, когда ее склеят?»

Я родился на Васильевском острове и вполне могу считать себя островитянином. Первые зрительные воспоминания связаны для меня с такой картиной: в начале моей родной улицы, перегораживая ее, сереют грузные корпуса судов, а над крышами окрестных домов торчат корабельные мачты. Мог ли я в далеком довоенном детстве представить, что мне посчастливится несколько раз обогнуть земной шар, плавать во всех океанах и даже купаться во всех, в том числе и в Северном Ледовитом (правда, там не по своей воле), высаживаться на берега многочисленных островов от Северной Атлантики до Антарктиды, неоднократно опускаться на океанское дно в подводных обитаемых аппаратах?

Ненастным ноябрьским днем 1982 года в небольшом сибирском городке Ялуторовске, неподалеку от Тюмени, в Музее декабристов, устроенном в старой, почерневшей от времени избе, в которой жил долгие годы ссыльный Матвей Иванович Муравьев-Апостол – брат казненного Апостола Сергея, я увидел странный экспонат. Это была старая толстостенная винная бутылка из темного стекла. Уже не надеясь вернуться в столицу, Матвей Иванович, забытый всеми, положил в эту бутылку записку о себе и уже ушедших из жизни друзьях-декабристах, а бутылку спрятал под половицу возле печки. Как будто не томился в ссылке в заснеженном сибирском городке, а тонул в бурном штормовом океане. Он был уверен, что про их поколение никто давно не помнит. Бутылку с запиской нашли уже в XX веке...

В 2005 году мной вместе с профессиональными «киношниками» была начата большая работа над документальным автобиографическим фильмом «Атланты держат небо...», 34 серии которого были закончены только в 2009 году. Мне пришлось снова входить в дома и квартиры, где я когда-то жил, ездить в города, где я бывал молодым, разыскивать старых друзей, большинство из которых умерли или уехали за рубеж, и я понял, что поиски прошлого – вещь неблагодарная. Под объективом оператора я сидел на подоконнике в узкой комнате на пятом этаже дома на Мойке, 82, где прожил с родителями более десятка лет, смотрел на Исаакиевский собор напротив, пытаясь вспомнить свою юность, и ничего не испытывал, кроме тоски по ушедшим и острой ностальгии по себе. И все-таки мне хотелось бы повторить попытку Муравьева-Апостола и бросить свою бутылку в бушующий океан времени.

Несколько лет назад на концерте в Санкт-Петербурге я получил записку: «Уважаемый Александр Моисеевич! Кто были ваши любимые авторы песен, когда вы учились в школе?» Автор записки наивно полагал, что авторская песня была в нашей стране и в годы моего детства. Смешная эта реплика заставила меня с грустью подумать о том, что минувший век, с которым связана большая часть моей жизни, стремительно и невозвратно уходит в прошлое и становится историей, обрастая легендами и небылицами.

Я – представитель поредевшего поколения «шестидесятников», перешагнувший через рубеж тысячелетий, дожил до времени, когда песни и стихи как будто перестали быть нужны.

Те наивные и хрупкие идеалы, которые манили нас в недолгую пору хрущевской оттепели и зыбкое неоднозначное время горбачевско-ельцинских перестроек, оказались призрачными. Авторитарная система, диктатура коррумпированной бюрократии, пришедшая на смену неустойчивой и слабой демократии 90-х годов прошлого века, становится все более циничной и беззащитной. Телеэкраны, радиоэфир, газеты, журналы и Интернет наполнены криминалом, кровью и цинизмом. Мракобесие, заведомая ложь и ксенофобия набирают силу при явном попустительстве властей. Всеобщая усталость, раздражение и разочарование достигли опасного предела.

Тихая, требующая глубоких раздумий стихотворная строка, негромкое звучание гитарной струны, приглашающее к доверительному разговору, – все это осталось в прошлом и сегодня как будто не востребовано. Песен в стране не слышно. Эфир заполнен попсой и так называемым русским криминальным шансоном. Телеэкран забит третьесортными полицейскими фильмами. Через эфир и экран идет последовательная «дебилизация всей страны». Уместно вспомнить, что когда в средневековом Датском королевстве хотели отравить короля, то капали ему яд именно в ухо. Для чего это делается? Не потому ли, что дебилами легче управлять?

Для меня Родина – не только страна, где я родился, но и эпоха, в которой я вырос и жил. И меня невольно охватывает ностальгия по невозвратно миновавшему времени «поющих шестидесятых», поре недолгих юношеских надежд и первой волны гласности, вызвавшей к жизни среди прочего такое странное явление, как авторская песня, по ушедшим из жизни друзьям. По своей основной профессии я геофизик. Значительная часть моей жизни связана с экспедициями. Более семнадцати лет я проработал на Крайнем Севере и около тридцати принимал участие в океанских экспедициях. Большая часть моих коллег по работе и экспедициям уже ушла из жизни, и мне хотелось бы вспомнить о них.

Эта книга – воспоминания не о «себе, любимом», а скорее о людях и минувшей эпохе, в которой мне довелось жить и работать.

К прошлым годам обращаюсь теперь, постарев, я,
Память, как свечку, в прозрачной ладошке несу.
Ветер листает листву на усталых деревьях.
Лето в разгаре, но осень уже на носу.
В старой кадушке скисает вчерашнее тесто.
Жалостен вид молодого когда-то лица.
Силы мне дай, летописец мифический Нестор,
Повесть о жизни своей дописать до конца.
Соединяю минувшего ржавые звенья,
Не пропуская при этом ни года, ни дня,
Чтобы родных и друзей уберечь от забвенья, —
Некому вспомнить сегодня их кроме меня.
Скоро окошко осенние тронут капли.
Листьев флотилия в тёмном качнётся пруду.
Песни припомню, что прежде на Севере пели, —
Некому будет запеть их, когда я уйду.
И мемуаров достроив непрочное зданье,
Фразу из Герцена вспомню внезапно опять:
«Каждому право даётся на воспоминанья,
Так как никто их потом не обязан читать.»

Васильевский остров

*Что могу я сказать о родном моем Питере?
Не пристало в любви объясняться родителям,
С кем с момента рождения жили обыденно,
Без которых и жизни бы не было, видимо.
Я родился вот здесь, на Васильевском острове,
Что повязан и днесь с корабельными рострами,
На Седьмой, не менявшей названия линии,
Где бульвар колыхался в серебряном инее.
Я родился за этой вот каменной стенкою,
Меж Большою Невой и рекою Смоленкою,
Под стремительных чаек надкрышиным витанием,
И себя называю я островитянином.
Что могу написать я сегодня о Питере,
Облывший старик, «гражданин на дожитии»,
Сохранивший упрямость мышления косного
Посреди переменного мира московского?
Переживший эпоху Ежова и Берии,
Я родился в столице Великой империи.
Я родился в заштатной советской провинции,
Населенной писателями и провидцами.
Вспоминаю ту зиму блокадную жуткую,
Где дымился наш дом, подожженный «буржуйкою»,
И пылали ракет осветительных радуги
Над подтаявшим льдом развороченной Ладоги.
Переживший здесь чувство и страха, и голода,
Полюбить не сумею другого я города.
Испытав ностальгии страдания острые,
Полюбить не сумею другого я острова.
Что могу написать я сегодня о Питере?
Я хочу здесь остаться в последней обители,
Растворившись в болотах его голодаевых,
Где когда-то с трудом выживал, голодая, я.
Мне хотелось бы, братцы, над каменной лесенкой
Безымянной остаться единственной песенкой,
Что и в трезвости люди поют, и в подпитии.
Вот и все, что могу написать я о Питере.*

Мы старые островитяне... *Вадим Шефнер*

7-я линия Васильевского острова, где между Большим и Средним проспектами располагался наш дом, берёт свое начало от набережной Невы. Как известно, по дерзкому замыслу Петра василеостровские линии и должны были быть поначалу не улицами, а каналами, соединявшими рукава Невы. Обывателям же василеостровским вменялось в обязанность иметь лодки, «дабы по этим каналам ездить». Однако первый «санкт-питербурхский» губернатор, вороватый светлейший князь, герцог Ижорский, большую часть отпущенных казной для рытья

каналов денег употребил на обустройство своего роскошного дворца на василеостровской набережной, развернув его фасадом вопреки воле государя к Неве вместо здания Двенадцати коллегий. За это Александр Данилович Меншиков был, как известно, бит палкой лично государем, но ничего изменить уже было нельзя. Каналы получились узкие, непроточные и такие грязные, что их пришлось засыпать. Можно считать, что с губернаторами Питеру не везло с самого начала.

Я родился в 1933 году, когда большинство старых питерских названий улиц, площадей, мостов и даже пригородов было уже изменено на новые, послереволюционные. Дворцовая площадь носила имя Урицкого, которого здесь застрелили, Марсово поле называлось площадью Жертв Революции. Это название всегда представлялось мне нелогичным, так как жертвы революции, как мне тогда казалось, – это прежде всего капиталисты и помещики. Невский проспект переименовали в проспект 25 Октября, а Садовую – в улицу 3 Июля. В связи с этим рассказывали анекдот. «Старушка спрашивает: «Скажи, сынок, как мне к Невскому добраться?» – «А вот садись, бабка, на остановке «3 Июля» – как раз к «25 Октября» и доедешь». – «Что ты, милоч, мне раньше надо». Уже после войны, когда отовсюду активно вытравливался немецкий дух, Петергоф был переименован в Петродворец. Другое такое же переименование породило чисто питерскую шутку, непонятную москвичам: «Как девичья фамилия Ломоносова?» – «Ораниенбаум». Интересно, что в годы моего довоенного детства пожилые люди обычно употребляли старые питерские названия, упорно игнорируя советские переименования. Теперь, когда вернули старые названия, я сам, став пожилым, почему-то предпочитаю привычные моему уху имена моего детства, называя Каменноостровский Кировским, а улицу Первой Роты – Первой Красноармейской.

Я называю себя ленинградцем, ибо первыми словами, услышанными в детстве, были «папа» и «мама», а третьим – «Ленинград». Про дедушку Ленина и все его замечательные качества я узнал значительно позднее. Кроме того, мне трудно называть блокаду «Петербургской». Конечно, умом я понимаю, что Великому и многострадальному городу необходимо было вернуть историческое имя, но для моего вымирающего поколения он навсегда останется Ленинградом.

Будучи коренным василеостровцем (или василеостровитянином?), я всегда интересовался происхождением питерских названий. Так, не без удивления, я обнаружил, что название Голодай (отдаленный приморский край Васильевского) к слову «голод» никакого отношения не имеет. Просто заселившие Васильевский остров при Петре иностранцы в конце недели отправлялись сюда, на взморье, проводить свой «holiday». Название пригородного поселка Шушары по Московскому шоссе тоже появилось при Петре Великом. Там на тракте стояла городская застава, и обывателей, имевших документ, пропускали в столицу, а «беспачпортную шушеру» тормозили здесь, за пределами города, где она и селилась.

Дом № 38 по 7-й линии, где мои родители занимали узкую, как щель, тринадцатиметровую комнатку с окном, упершимся в черный колодец двора, в коммунальной квартире на втором этаже, был шестиэтажным доходным домом 1909 года постройки. Сама квартира, прежде принадлежавшая, видимо, одной весьма состоятельной семье, до революции была довольно комфортабельной, о чем говорили лепные узоры на высоких потолках прежних больших комнат, рассеченных тонкими перегородками на тесные клетушки.

Свет попадал в наше окошко, только отраженный каким-то другим окном, выходившим в колодец двора. Этот замкнутый стенами двор жил своей отдельной жизнью. Жизнь здесь началась ранним утром, когда с Андреевского рынка сюда привозили на тележке бидоны с молоком и раздавались крики: «Молоко! Молоко!» Потом приходил жестянщик, за ним точильщик ножей, и резкий звук дребезжащих о металлический брусок ножей и вилок будил всю окрестность. До сих пор эти звуки, умноженные колодцем двора, отражающиеся дворовым эхом, живут в моем воображении.

Несколько лет назад со съемочной группой фильма «Атланты держат небо...» я впервые после войны попал в свою старую коммунальную квартиру. И меня охватило странное ощущение, что был это не я, а какой-то другой человек, жизнь которого мне хорошо известна, но которого как бы и не существует. Дом наш, в детстве казавшийся огромным, с высоким лепным фасадом и сохранившейся с дореволюционных времен красивой парадной с литыми бронзовыми украшениями и цветными витражами на стеклах, теперь представляется уже не таким большим. Коммунальная квартира и наша комната оказались совсем уж крошечными и тесными. Да и бульвар перед домом стал совершенно другим. Еще на моей памяти на нем были посажены молодые лиственные деревья. В блокаду их спилили на дрова, а после войны почему-то посадили ели, и всякий раз, проходя по 7-й линии мимо родного дома, я с грустью вспоминаю довоенный лиственный бульвар.

Кстати, когда началась работа над сериалом «Атланты держат небо...», не обошлось без курьезов. Первые серии фильма первоначально монтировались на одной питерской студии. Для расшифровки содержания записей по хронометражу они привлекли студенток филфака Самарского университета, проходивших у них практику. И вот я читаю: «Старый еврей идет по улице. Старый еврей входит в подъезд. Старый еврей поднимается по лестнице и звонит в дверь». И вдруг до меня доходит, что старый еврей – это я! И ведь ничего не возразишь – все чистая правда.

«Атланты держат небо...», так же как и другие фильмы творческого объединения «Атлант» («В поисках идиша», «И жить еще надежде», «Мой Питер», «Легенды и мифы Александра Городницкого», «Портреты на стене»), – это эксперимент, попытка соединения документального кино с моими стихами и песнями. Я очень благодарен нашей творческой группе – режиссеру Наталье Касперович, монтажери Дмитрию Суцеву, композитору Геннадию Цыпину и безвременно ушедшему нашему другу, замечательному оператору Семену Фридлянду – за многие годы интересной и плодотворной работы. Отдельное спасибо режиссеру, классику отечественной документалистики Юрию Хачеватскому, с которым мы создавали наше творческое объединение. Хочется верить, что впереди у нас новые фильмы.

Кружится, отражения дробя,
В зеленой Мойке облачная вата.
Снимаю фильм про самого себя.
Смешно, конечно, но и грустновато.
Припоминаю старое житье:
Васильевский и линия Седьмая.
Гремит оркестров медное литье,
Обозначая праздник Первомая.
Поют гудки в невидимом порту,
Суля судам счастливую дорогу,
И вкус лимонной корочки во рту
Слабеет, исчезая понемногу.
Потом блокада, орудийный гром
И дистрофии черная зараза.
Мой старый дом сгорел в сорок втором,
Я с той поры здесь не бывал ни разу.
Я прожил жизнь вдали от этих мест,
О прошлом забывая постепенно.
Зачем вхожу я в старенький подъезд,

Ступая на знакомые ступени?

Зачем смотрю в забытое окно
В чужом доме, смущенный и неловкий?
Соседи переехали давно:
Кто на Смоленке, кто на Пискаревке.
Шумят бомжи под окнами в саду,
Входная дверь клеенкою обита.
Я ничего здесь больше не найду
Из детского утраченного быта.
Не наводи, приятель, объектив,
Не надрывай мне уши, канонада.
Вторично в реку времени войти
Я не могу, да это – и не надо.

К трехсотлетию юбилею Питера рядом с нашим домом поставили бронзовую фигуру «бомбардира» – петровского сподвижника Василия Корчмина, от которого, по легенде, Васильевский остров получил свое название. За его спиной до войны был кинотеатр «Форум», сгоревший в блокаду, потом кинотеатр «Балтика», а сейчас элитный жилой дом. На другой стороне нашей улицы, на 6-й линии, в Троекуровском особняке, втором каменном строении Петербурга после Меншиковского дворца, находилось отделение милиции. Кстати, в детстве я очень хотел стать милиционером. Меня привлекала их замечательная белая форма и белые каски с двумя козырьками – спереди и сзади. Потом я, конечно, хотел быть пожарным, поскольку неподалеку располагалась пожарная часть.

На углу 7-й линии и Среднего проспекта, где теперь вестибюль станции метро «Василеостровская», дежурили извозчики в высоких черных пролетках с откидным верхом и лаковыми черными крыльями. Звонкое цоканье конских копыт по еще булыжной мостовой, ржание и всхрапывание лошадей, ласково зазывающие голоса извозчиков, ударяющий в ноздри острый запах лошадиного навоза населяли мертвые каменные городские просторы реальной жизнью окрестной деревенской природы, вытравленной нынче смертоносной гарью отработанного бензина. Все это вновь приходит мне на память, когда я перечитываю замечательные строки Давида Самойлова: «Звонко цокает кованый конь о булыжник в каком-то проезде».

Мои отец и мать родились в губернском городе Могилеве в Белоруссии, откуда отец приехал в Ленинград учиться в конце 20-х годов. Родителей матери я практически не помню. Они умерли в эвакуации в Свердловске в годы войны. Дед мой по отцовской линии был по профессии шорником и имел в Могилеве собственную мастерскую. Переживший трех царей, он отличался крепким здоровьем, религиозностью и редким трудолюбием. Работал не покладая рук до восьмидесяти лет и умер, простудившись на чьей-то свадьбе, в восемьдесят четыре года. Более всего любил париться в русской бане. Отец мой вспоминал, что уже в последние годы жизни деда, приезжая из Ленинграда в Могилев, он возил его на извозчике париться в баню, поскольку без посторонней помощи дед уже добраться туда не мог. В бане, однако, отец старался сесть от деда подальше, чтобы не ошпариться брызгами кипятка, долетавшими из его шайки, так как сам горячего пара не выносил.

У меня хранится чудом уцелевший рыжий и выцветший фотоснимок 1911 года, на котором изображен дед за станком в своей мастерской и стоящий рядом трехлетний отец. Смотря на него, я с грустью думаю, что почти ничего не знаю о своей родословной. Судя по воспоминаниям отца, к большевикам дед относился сдержанно, хотя именно им почему-то – возможно, из-за недостаточного технического образования – приписывал заслугу изобретения радио, которое, как известно, задолго до них придумали Маркони и Попов. «Нет, нет, это сделали они, и сделали специально, – говорил он моему отцу, с опаской косясь на вещающую хриплым голосом черную тарелку репродуктора в углу. – И знаешь зачем? Чтобы никто не

мог думать сам. Потому что если человеку в ухо все время что-нибудь говорят, то он уже сам думать не может».

Много лет спустя, в декабре 1961 года, когда я впервые отправился в океанское плавание на военном экспедиционном паруснике «Крузенштерн», оригинальное высказывание деда нашло неожиданное подтверждение в реплике нашего замполита. Когда я спросил его, почему по принудительной трансляции на судне весь день оглушительно грохочет радио, забивая уши, он ответил:

«А это специально, чтобы матрос много не думал. За него другие думают».

Что же касается заблуждения о могуществе большевиков в области науки и техники, то оно до сих пор бытует довольно широко. Вспоминаю, как в начале 80-х, уже на другом судне, где я прочел для экипажа лекцию о дрейфе континентов, другой замполит спросил у меня: «Скажите, а мы можем управлять движением континентов?» – «Кто это мы?» – переспросил я. «Как это кто? – удивился замполит. – Конечно, партия и правительство». – «Нет, что вы, – замялся я, – человечество пока не в состоянии управлять таким сложным процессом». – «Плохо работаете, – отрезал замполит, – должны научиться». А в пору перестройки и распада Советского Союза мне домой в Москве позвонил корреспондент Би-би-си. «Профессор Городницкий? Мне вас рекомендовали как специалиста по строению земной коры. Мы хотели бы, чтобы вы прокомментировали заявление Звизда Гамсахурдии, что большевики специально устраивают землетрясения в Закавказье, чтобы подавить в Грузии движение за независимость». – «Конечно, большевики многое могут, – ответил я, – но специально устраивать землетрясения они, слава богу, еще не научились. Поэтому заявление Гамсахурдии либо глупость, либо, что вероятнее, – политическая провокация».

Бабушку свою по отцовской линии я помню смутно. Облик ее ассоциируется в памяти с острым ароматом антоновских яблок, лежавших на чердаке в ее могилевском доме, да еще, пожалуй, с торжественным обрядом варки всевозможных варений в сияющем, подобно вечернему солнцу, медном тазу, в процессе чего детям разрешалось лакомиться пенками. Была она непревзойденной мастерицей по части знаменитой еврейской кухни, прежде всего по фаршированию рыбы и изготовлению «тейгелех» – маленьких орешков из теста, вываренных в меду. Двигалась она и говорила тихо. Когда немцы занимали Могилев, в августе 41-го, она, уже покинув дом, решила вдруг вернуться за какими-то забытыми вещами. Она не слишком опасалась прихода немцев, хорошо помня немецкую оккупацию Могилева в 1918 году, когда немцы торговали с местным населением и не вмешивались в его внутренние дела. Вместе с несколькими тысячами могилевских евреев она и ее сестры в октябре 1941 года погибли в местечке Пашково под Могилевом. Это было место, где впервые испытывались немцами печально известные душегубки.

Отец мой своей скромностью, трудолюбием и любовью к порядку пошел в деда. Более строптивым характером обладал его младший брат – Борис, мой дядя, ставший потом профессиональным военным. В 1916 году, пяти лет от роду, когда в Могилев, где размещалась Ставка Верховного командования русской армии, прибыл Николай II, он ухитрился чуть не попасть под царский автомобиль, неожиданно перебежав перед ним улицу. Происшествие это не обошлось без вмешательства полиции и последующей взятки полицмейстеру, чтобы замять дело. Пятнадцати лет дядя мой добровольцем вступил в Красную Армию. В конце 30-х годов на Дальнем Востоке, где он уже офицером служил в химических частях, чуть не загремел вместе с другими офицерами их полка по обвинению в шпионаже в пользу Японии. В отличие от других его тогда – в связи с фамилией Городницкий – обвинили в шпионаже в пользу Польши. Все обошлось по чистой случайности: Ежова сменил Берия, и репрессии были временно приостановлены. Помню, как в 39-м проездом в Мурманск, «на Финскую», он появился в нашей тесной комнатке на Васильевском в дубленом, остро пахнущем овчиной полушубке, туго перепоясанный портупеей с кобурой, с «кубарями» в петлицах, сразу заполнив своим громким голосом и

воинским снаряжением все наше небольшое жизненное пространство. Пережив Отечественную и дослужившись до подполковника, дядя вышел в отставку и поселился в Саратове.

Был он в свое время изрядным сердцеедом. Вспоминаю, как в 1966 году мы вместе с моим тогдашним начальником Николаем Николаевичем Трубяччинским в промозглую осеннюю погоду прибыли в командировку в Находку, в Военную гидрографию, договариваться о совместной экспедиции. В городской гостинице «Восток» пожилая хмурая администраторша нам сказала, что мест нет и не будет, да и вообще гостиница эта для интуристов.

«Я знаю, что надо делать, – шепнул мне в ухо Николай Николаевич. – Надо вложить в паспорт два червонца и дать ей». Так я и поступил и сказал, просовывая в окошечко паспорт: «Может быть, мы оставим паспорта на случай, если место вдруг освободится?» – «Да зачем мне ваш паспорт?» – строго спросила администраторша и отпихнула его ладонью. Паспорт упал на ее столик и раскрылся, обнаруживая внутри две красненькие бумажки. К моему удивлению, неприступная дама, даже не взглянув на них, с интересом прочитала мою фамилию и спросила: «Это кто – Городницкий?» – «Я – Городницкий», – несколько смущенный своей популярностью в этом далеком краю произнес я. «Подождите, – сказала она, вдруг покраснев и начав поправлять свою «химическую» прическу, – вас двухместный люкс устроит? Тогда давайте и второй паспорт». Польщенный таким безотказным действием своей фамилии и приписывая все это, конечно, собственным песенным заслугам, я заполнил наши гостиничные анкеты. Когда я ей их передавал, она спросила: «Лейтенант Городницкий, Борис, вам родственник?» – «Только не лейтенант, а подполковник, – наконец начиная что-то понимать, ответил я. – Дядя мой». – «Ой, у меня смена через час кончается. Можно я к вам зайду, вы мне про него расскажете. Всю жизнь его помню!»

Мать моя родилась в многодетной семье, где было семеро детей. Всем им, несмотря на нужду, дали образование. Отец и мать познакомились в 1923 году в школе во время соревнований на лучшую устную газету. В то время в моде были разного рода кружки, один из которых, литературный, собирался обычно в обширной квартире школьных друзей отца Гордонов. Душой кружка был старший из братьев – Гриша Гордон, впоследствии ставший журналистом и рано ушедший из жизни. Второй брат – Павел Гордон, возможно, под влиянием этого кружка стал известным поэтом-переводчиком, взяв себе в качестве псевдонима звучную фамилию Кобзаревский. Переводил он в основном стихи белорусских поэтов, а кроме них – еврейских, латышских и таджикских. Жил он и умер в Ленинграде. До сих пор помню его замечательную библиотеку в квартире на Пятой Красноармейской – угол Московского, неподалеку от старинного каменного верстового столба, поставленного еще при Екатерине II. Его именем названа одна из улиц в Могилеве.

В 1925 году родители расстались. Отец поехал учиться в Ленинград, а мать – в Москву, где пыталась поступить в МВТУ имени Баумана. Она сдала приемные экзамены, но не была зачислена «по социальному положению». Тогда она поступила учиться в педагогический техникум, который окончила в 28-м году. После этого ее направили на работу в Сибирь, в Алтайский край, в глухую деревню Вознесенское Рубцовского района, где впервые организовали школу. В непривычной для нее сибирской обстановке приходилось нелегко, тем более что местные власти всячески старались привлечь ее к коллективизации.

Отец посылал ей письма из Ленинграда чуть ли не каждый день. Он в это время учился в ленинградском фотокинотехникуме, куда поступил в 1926 году. Стипендия ему не полагалась из-за неприглядности социального происхождения – сын кустаря. Приходилось поэтому работать, чтобы прокормиться. В те поры в учебных заведениях существовали на общественных началах трудовые артели, подыскивавшие для студентов временную работу. Через такую артель отец устроился ночным сторожем, поскольку дни были заняты учебой.

Директором фототехникума в годы, когда там учился отец, был профессор Ленинградского технологического института Дмитрий Ильич Лещенко, друживший с первым наркомом

просвещения А.В. Луначарским, который, приезжая в Ленинград, всегда останавливался у него. В 1917 году, когда Ленин после июльских событий скрывался в Разливе, Лещенко фотографировал его для фальшивого удостоверения загримированным под рабочего сестрорецкого завода. В техникуме он читал на первом курсе неорганическую химию, но на его лекции приходило множество студентов со старших курсов. Читал он захватывающе интересно. Рассказывая о химии, часто приводил примеры из истории революционного движения, участником которого был сам.

Помимо работы ночными сторожами и грузчиками, студенты фототехникума время от времени прирабатывали на киносъемках как статисты. Работа эта была легкой, а заработок – вполне приличным. Как раз в это время Эйзенштейн снимал в Ленинграде фильм «Октябрь». Помощниками его были Г. Александров, М. Штраух и М. Гоморов. Оператором фильма был Эдуард Тиссе. Поскольку съемки начались в мае 1927 года, все студенты, в том числе и отец, старались пораньше сдать экзамены, чтобы освободить время. Сдав экзамены досрочно, отец чуть ли не каждый день ездил на съемки то в Смольный, то в Петропавловскую крепость, то на станцию Кушелевка. Наряду с участием в массовках он работал разнорабочим на съемочных площадках, расставлял осветительные приборы, разматывал кабели или подвозил из Арсенала винтовки. Позднее, научившись обращаться с прожектором, он стал осветителем на вечерних съемках.

Отец вспоминал, что в фильме «Октябрь» профессиональных актеров почти не было. Ленина, например, играл рабочий цементного завода Никандров, имевший с ним портретное сходство. Ему пошили костюм, пальто и кепку, а на голове выбрили лысину. В роли Керенского снимался также похожий на него студент университета. Зиновьева играл его настоящий брат, а в роли Троцкого был занят какой-то зубной врач, также обладавший большим сходством с героем. Можно было только поражаться терпению и выдержке Александра и Штрауха, которые «дрессировали» непрофессиональных актеров. Больше всего возни было с Никандровым, часто не понимавшим, что от него требуется. Обычно на массовках его не показывали. Поскольку отец работал в съемочной группе, ему было поручено привозить Никандрова на съемки в Смольный, где специально была выделена комната для гримировки. На съемочную площадку Никандрова выпускали в самый последний момент. Это производило такое впечатление, что все солдаты и матросы, участвовавшие в массовках, встречали его как настоящего Ленина. Когда он проходил по актовому залу, направляясь к трибуне, не надо было искусственно подогревать «энтузиазм масс». Присутствующие кричали «ура» и кидали вверх шапки вполне естественно, что и фиксировалось на пленке.

Однажды отцу в очередной раз поручили привезти Никандрова в Смольный на съемку. Жил тот в гостинице «Европейская». Когда отец поднялся на второй этаж и постучал в номер, его не оказалось. Горничная сказала, что Никандров вчера не ночевал, а накануне с ним был неожиданный скандал. Он поднялся вечером в уже упомянутый ресторан «Крыша», где кутили татары, и, подсев к ним за стол и изрядно набравшись, начал куролесить. Потом затеял драку. Когда вызванные милиционеры стали его забирать, он вырывался и кричал: «Кого забираете, гады! Я – Ленин, я вам свободу дал!» В какое отделение его увезли, было неизвестно. Пришлось звонить в Смольный и выяснять, куда забрали Никандрова. Когда отец разыскал отделение, где сидел Никандров, дежурный заявил ему, что афериста, работающего под Ленина, он не отпустит. Пришлось снова звонить в Смольный, в административную группу. Там сказали: «Ждите в милиции – мы позвоним Подвойскому». Примерно через полчаса Никандрова освободили. Выглядел он весьма неприглядно: лицо обрюзгшее, под глазом – огромный синяк. В таком помятом виде отец и привез его в Смольный на съемку. Там Никандрову устроили изрядную выволочку, загримировали синяк под глазом и выпустили на площадку под восторженные овации «революционных рабочих и крестьян».

На деньги, заработанные на съемках, отец купил себе шапку, ботинки и большую деревянную фотокамеру формата 13х18 для занятий фотографией. Старинный этот фотоаппарат я хорошо помню. Он стоял в нашей комнате на Васильевском и сгорел в блокаду вместе с домом. Помню также необычную фотографию, где отец, игравший в массовке рабочего, снят сидящим между Лениным и Троцким...

В феврале 1930 года мать приехала к отцу в Питер из Алтайского края, где работала учительницей, и они поженились. Все имущество молодой семьи в тринадцатиметровой комнатухе на 7-й линии Васильевского острова, полученной отцом, состояло из ломберного столика, двух стульев, раскладушки и табуретки. Отец в это время работал в фотокинотехникуме и учился заочно в Московском полиграфическом институте. Мать пошла работать учительницей начальных классов в среднюю школу на 8-й линии и поступила на заочное отделение физико-математического факультета Педагогического института имени Герцена, который окончила в 36-м, когда мне было уже три года.

Родители дома почти не бывали – днем они работали, а вечером учились. Поэтому большую часть времени в первые мои четыре года я проводил с няньками. Институт няnek в Ленинграде в начале 30-х был весьма распространенным и вполне доступным даже для таких малоимущих семей, как наша. Няньки мои были в основном женщины средних лет или пожилые из псковских, новгородских или вологодских краев, чаще всего верующие. Отправляясь утром на уроки в школу, мать обычно снаряжала нас гулять. Местами ежедневных прогулок были бульвары на 7-й линии или Большом проспекте, а при дальних прогулках – Соловьевский сад на углу 1-й линии и набережной.

В Соловьевском саду с его стройным Румянцевским обелиском, увенчанным бронзовым орлом и гордой надписью «Румянцева победам», по субботам и воскресеньям играл обычно военный духовой оркестр. Исполнялись по большей части старинные марши и вальсы. Мне почему-то более других запомнился часто звучавший вальс «Осенний сон». Зрительная память связывает с глухими ударами вздыхающего барабана и грустным напевом труб огненно-красную акварель сухих кленовых листьев на песчаных дорожках сада. До сих пор, услышав этот старый вальс, я испытываю странное чувство мечтательной грусти, как будто кто-то теплой и влажной рукой осторожно берет тебя за сердце. Может быть, именно поэтому всю жизнь более всего я люблю вальсы. Навсегда остался в памяти и старинный марш «Прощание славянки», уже через много лет снова вернувшийся ко мне со сцены МХАТа в финале «Трех сестер».

Я люблю духовые оркестры,
Что других мне оркестров нужней.
Это все начинается с детства,
С довоенных забывшихся дней.

Те старинные слушая марши,
Что запомнил тогда наизусть,
Почему-то я делался старше
И впадал в непонятную грусть.
Поистлели нашивки и канты,
Неуместны в эпохе другой,
Те военные спят оркестранты
Кто под Гатчиной, кто подо Мгой.
Позабыть бы давно это надо —
Где обратно дорогу найду?
Догнивает пустая эстрада
В Соловьевском осеннем саду.

Мне оркестр духовой не поможет,
Впереди холода и дожди.
Отчего же, скажи, отчего же
Снова сердце заныло в груди?
Не вернуть мне васильевских линий.
Что я в жизни хорошего знал?
Все уходит, как в фильме Феллини,
Где всегда неизменен финал.
Где теряешь и дом, и подругу,
И годами налаженный быт,
А оркестр все ходит по кругу
И веселые марши трубит.

Одна из моих нянек, набожная старуха из-под Крестец, во время прогулок ежедневно таскала меня в Андреевский собор на церковные службы, строго-настрого наказав не рассказывать об этом матери. Более всего любила она отпевания. Торжественность мрачноватого этого обряда, усугубляющаяся казавшейся мне странной неподвижностью лежавшего человека, бледное лицо которого ярко освещалось свечами в таинственной полутьме храма, необычно выпевавшиеся слова, терпкий запах плавящегося воска – все это внушало тоску, побуждало скорее выйти наружу, под яркий солнечный свет, на нагретые каменные ступени, где играли другие дети. Я не мог разгадать пугающей тайны смерти и понял тогда только одно: смерть – это неподвижность. В 36-м с собора сорвали кресты, и церковь свое существование прекратила.

Вместо свергнутого Бога появлялись другие. Помню, как над воротами домов на нашей линии прибывали странный знак Осоавиахима – с винтовкой, пропеллером и противогоздом, напоминающий языческий тотем, который должен был защитить жилище от беды. Увы, не защитил.

Поскольку мать и отец нередко возвращались домой поздно, спать меня в раннем детстве, как правило, укладывали няньки, так что я хорошо запомнил и полюбил старые народные и колыбельные песни, которые они пели. Больше других запомнились мне две песни. Одна из них начиналась строчками:

Спи, дитя мое, усни!
Сладкий сон к себе мани:
В няньки я тебе взяла
Ветер, солнце и орла.

Вторая, которую, я, конечно, так же как и первую, услышав впервые от своих нянек, считал народной, начиналась так:

Не осенний мелкий дождичек
Брызжет, брызжет сквозь туман:
Слезы горькие льет молодец
На свой бархатный кафтан.

Уже через много лет я сильно удивился, узнав, что слова одной песни принадлежат Якову Полонскому, а второй – другу Пушкина Антону Дельвигу. Именно эти песни всплывают в моей памяти как одни из первых в жизни.

Стена, как Ванька-встанька,
От двери до угла.
Поет мне песню нянька
Про солнце и орла,
Крестецкою растяжкой
Коверкая слова.
Садится солнце тяжко
В окне за острова.
Орел, избегнув сети,
Летит к себе домой.
Струится теплый ветер
По линии Седьмой.
Июньское бесцветье
И тридцать пятый год.

Струится пыльный ветер
Вдоль запертых ворот,
У близкого причала
Качая корабли.
Вот здесь мое начало
И край моей земли,
Где то, что в коммуналке,
И то, что за стеной,
Покачивает валко
Единою волной
Та песня, что надолго
Мне на душу легла,
Как ощущение дома,
И света, и тепла.

Что касается самого Пушкина, то первая картинка, увиденная мной на стене нашей узкой комнатки, – большой, работы Тропинина, портрет Пушкина с перстнем на пальце. Отец вырезал эту литографию из какого-то журнала и повесил над моей кроватью.

Так что с Пушкиным я знаком почти с самого рождения.

А с улицы из черных репродукторов гремели другие песни и марши, заполняя собой окружающее пространство и призывая воевать и строить: «Нам нет преград на море и на суше», «Мы железным конем все поля обойдем», «Сталин – наша слава боевая». От песен этих становилось весело и тревожно, хотелось маршировать вместе со всеми, бороться и обязательно побеждать. Только через много лет, привыкший к этим песням, как к неотъемлемой части моей жизни, я вдруг обратил внимание на то, что почти ни в одной из них нет местоимения «я» – вместо него всегда безликое «мы». Так исподволь, через песни, в подсознание слушающих вливалась привычка все делать строем, по команде: сеять, строить, воевать, ненавидеть и даже любить. Сейчас, когда в дни Первомая или 7 ноября я вижу на улице редящие группы плохо одетых стариков с орденскими колодками, размахивающих красными флагами и распеваящих надтреснутыми голосами эти старые песни, сердце мое сжимается от жалости к ним и горечи за наше обманутое поколение.

Что же касается песен времен революции, то их тоже, конечно, пели, но постепенно они как бы уходили из жизни. Это относилось и к «Варшавянке», и к «Вы жертвою пали в борьбе

роковой», и ко многим другим песням. Набирающему силу авторитарному режиму, хотя еще и называвшему себя революционной властью, такие песни были уже не нужны.

Мне вспоминается небезопасная шутка отца. Мы с ним стояли на краю тротуара на Большом проспекте, а мимо нас шагом двигался кавалерийский эскадрон в буденовках с алыми звездами и шишаками сверху. Эскадрон лихо распевал «Интернационал». Когда я спросил у отца, для чего на буденовках эти суконные шишечки сверху (их еще называли «громоотводами»), он, усмехнувшись, сказал: «А ты слышишь, они поют: «Кипит наш разум возмущенный»? Вот через них пар и выходит».

Моя теща, Нина Ивановна Сундарева, как-то в разговоре заметила, что почти все песни революции – переводные, пришедшие к нам с Запада, ни одна из них практически не родилась в России. Это и «Интернационал», и «Марсельеза», и та же «Варшавянка». Красноармейцы на Гражданской войне, у костров, подальше от бдительных комиссаров, эти песни не пели. Они предпочитали петь «Ермака» и другие народные песни. Часто одни и те же песни пели и белые, и красные. О чем это говорит? Не о том ли, что сам дух революции, бунта «бессмысленного и беспощадного», чужд российской душе? Вслушайтесь в раздумчивый тон русских народных песен, вы не отыщете в них и следа грозных мятежей, не раз сотрясавших империю. Даже гениальная стилизация Блока в «Двенадцати» – «Уж я ножичком полосну, полосну!» – кажется на этом фоне чужеродной и явно звучит из уст маргиналов, которым «на спину б надо бубновый туз».

В 33-м году отец перешел на работу на Картографическую фабрику Военно-морского флота, где проработал почти всю жизнь – около тридцати пяти лет. Имя его не раз упоминается в книгах, посвященных истории гидрографии ВМФ в нашей стране.

Даже в те дни, когда отец и мать были вечером дома, они, как правило, работали. Мать проверяла бесконечные ученические тетради, а отец готовился к занятиям или штудировал очередную полиграфическую литературу, которая тогда в основном была на немецком языке. По вечерам, засыпая, я видел отца или мать, склоненных над столиком при неярком свете настольной лампы. Зрелище это вселяло чувство покоя и уюта. Зато настоящими праздниками были те нечастые дни, когда отец ненадолго освобождался и мы отправлялись гулять. Основным местом этих гуляний была набережная Невы, куда няньки не слишком любили ходить, предпочитая ближние бульвары и садики. Здесь начинался другой мир.

Под сырым пронизывающим до костей балтийским ветром поскрипывали у причалов самые разные суда – от гигантских (так мне тогда казалось) пароходов до маленьких, густо дымивших буксиров, которые все почему-то носили имена героев Великой французской революции – «Сен-Жюст», «Демулен», «Робеспьер». Веселые матросы курили на палубах. Иногда там же можно было услышать звуки баяна и лихие матросские песни, из которых запомнилась: «По морям, морям, морям, морям. Нынче здесь, завтра там». За маленькими круглыми окнами в медной оправе, светившимися в черном борту, происходила какая-то таинственная жизнь – уже не на земле, а в другой, хотя и близкой, не далее шага, но совершенно недоступной стихии. Это детское ощущение сладкой притягивающей тревоги и непреодолимого любопытства я вспомнил уже взрослым, когда впервые прочел строки Осипа Мандельштама: «Зимуют пароходы. На припеке зажглось каюты толстое стекло».

Другим любимым местом был зоопарк на Петроградской стороне. Туда надо было ехать на трамвае, хотя и не слишком далеко, а все-таки – настоящее путешествие через мосты. Трамваи тогда были с открытыми площадками и колокольчиком, объявлявшим отправление. Вечером на них зажигались разноцветные огни – для каждого маршрута свой, чтобы можно было опознать в темноте нужный номер. Сейчас трамваев в Питере почти не осталось. Их вытеснили на дальние окраины пахнущие бензином автобусы и маршрутки. А жаль.

Прощай, трамвай, прошла твоя пора.

Ты вровень стал с ненужными вещами.
Тебе вчера лишь оды посвящали,
А нынче выгоняют со двора.
Прощай, трамвай, не надо лишних слов.
Ты в прошлое ушел. Не на тебе ли
Сквозь питерские черные метели
Летел навстречу смерти Гумилев?
На рубеже изменчивых времен
Не ты ли вызывал в сердцах стесненных
Церквей, большевиками разоренных,
Из детства возвращенный перезвон?
В блокадные лихие времена,
Будя людей неугомонным звоном,
Внушал ты горожанам истощенным —
Мы победим, и кончится война.
Прощай, трамвай, тебе уж не звенеть
По площадям и набережным старым.
Тебя автобус не заменит впредь,
Бензиновым чадающий перегаром.
Забуду ли мальчишеских времен
Былой азарт? По островам зеленым
Ты двигался к футбольным стадионам,
Обвешанный людьми со всех сторон.
В далекие студенческие дни
Ты неизменно доставлял нас к цели,
Через дожди, туманы и метели
Светили разноцветные огни.
Теперь к поре не возвратишься той,
Когда во тьму мы вглядывались зорко,
Где шла зеленоглазая «семерка»
И желтоглазый шел «двадцать шестой».
Прощай, трамвай, ты устарел давно.
С тобою завтра встретимся едва ли.
Те парки, где трамваи ночевали,
Распроданы теперь под казино.
Прощай, трамвай, скорее уезжай.
Твой звон я не услышу спозаранку.
Ты вытеснен сегодня за Гражданку,
За Купчино, за Охту, за Можай.
Прощай, трамвай, судьба твоя темна.
Мы оба – уходящие натуры,
Два персонажа той литературы,
Которая сегодня не нужна.

В зоопарке, налюбовавшись на слонов, жирафов и львов, мы обычно шли кататься на «американские горы». Маленькая тележка с лязгом и звоном взлетала вверх и стремительно неслась вниз по крутым головокружительным виражам, проскакивая через какие-то тоннели. Сердце замирало от ужаса и восторга.

Кстати, именно здесь, на Петроградской, несколько позднее, когда я уже мог по складам читать объявления на стенах и вывески, я сделал неожиданное для себя открытие. Зная наизусть «Доктора Айболита», я пришел в восторг, увидев на угловом доме надпись: «Бармалеева улица». Вот оно что, оказывается, даже улица есть в честь Бармалея! Мне тогда, конечно, было невдомек, что все как раз наоборот. Здесь прежде жил богатый английский купец Бромлей, по фамилии которого и была названа улица, а уже по названию улицы придумал Корней Чуковский имя своему герою.

В последние годы, приезжая в Питер, я часто останавливался на Петроградской стороне в квартире моего друга, исследователя литературы Серебряного века и творчества обэриутов профессора Александра Аркадьевича Кобринского. До своего переезда жил он на улице Подковырова, параллельно которой идут улицы Подрезова, Бармалеева и Плуталова. Само перечисление этих чудесных названий – уже почти готовая стихотворная строчка. Несколько лет назад я написал песню «На Петроградской», которую профессору Кобринскому и посвятил:

Подковырова, Подрезова,
Бармалеева, Плуталова.
Успокой меня, нетрезвого,
Подбодри меня, усталого.
Ах, родная Петроградская,
Меж Большой Невой и Невкою!
Там примеры нынче брать с кого?
Там влюбляться больше не в кого.

Почему в моих глазах тоска,
На губах моих ирония?
По Введенской и по Лахтинской
Ходят люди посторонние.
Ходят с вечера до вечера
По Зверинской и по Гатчинской.
Здесь искать мне больше нечего —
Все былое смыто начисто.

Бармалеева, Плуталова —
Только разве дело в имени.
Все подружки стали старыми,
Все друзья мои повымерли.
Ты меня припомни резвого,
Дай мне запах снега талого,
Подковырова, Подрезова,
Бармалеева, Плуталова.

Любил я и праздничные демонстрации, особенно Первомайские, куда отправлялся либо с мамой и ее школой, либо с отцом. Вторым вариантом был гораздо привлекательней, поскольку колонну картфабрики обычно возглавлял большой военно-морской оркестр, да и в самой колонне было довольно много людей в морской форме. Это вселяло иллюзию причастности к морю. Да и сама морская форма осталась любимой на всю жизнь.

Когда в марте 1985 года неожиданно выяснилось, что у отца рак легких и оперировать его бесполезно, я, пытаясь отвлечь отца от размышлений о болезни, уговорил его начать писать воспоминания о своей жизни. Поначалу он никак не мог к ним приступить, но, будучи чело-

веком крайне трудолюбивым, понемногу втянулся в это занятие и успел написать довольно много. Уже после его смерти, внимательно прочитав написанное, я еще раз ощутил горькое чувство сиротства, незнания своих даже самых, казалось бы, близких корней.

Из записок его я узнал многое, о чем при нашей многолетней жизни в одной комнате даже не догадывался, – например, о том, как в 49-м году, когда началась «борьба с космополитами», отца чуть не посадили по ложному доносу и наших соседей по квартире вызывали в Министерство государственной безопасности, чтобы они дали на него показания. К счастью, все наши соседи были людьми порядочными.

Более всего отец любил книги, которым, будучи полиграфистом, посвятил свою жизнь: работу на картфабрике он совмещал с преподаванием в Ленинградском полиграфическом техникуме и Промакадемии, а выйдя на пенсию, руководил дипломными проектами и принимал постоянно участие в конкурсных комиссиях Ленинградского общества научно-технических изданий, заместителем председателя которого был много лет. Беря в руки красиво изданную книгу, он всегда радовался. Как-то он сказал, что брать в руки неряшливо изданную или грязную и затрепанную книгу хорошего автора так же неприятно, как общаться с умным и талантливым человеком в грязной и рваной одежде.

Судя по воспоминаниям отца, читать я научился по газетным буквам к пяти годам, а стихи запоминал со слуха довольно легко и очень любил читать их во время прогулок совершенно незнакомым людям. Вот что написал в своих записках отец без тени юмора. «На бульваре Алик мог подойти к сидящему на скамейке человеку и спросить: «Дядя, вы знаете стихи про челюскинцев?» Если тот говорил «нет», Алик выпаливал ему это стихотворение от начала до конца. Вот откуда у него появилась любовь к публичным выступлениям».

Почти каждое лето родители выезжали вместе со мной в Белоруссию – в Могилев или под деревню Польшковичи, «на Польшковские хутора». После тесной василеостровской комнатухи и питерских дождей белорусская солнечная деревенская вольница казалась сказочной. В памяти смутно брезжат протяжные белорусские песни, и до сих пор звенит в ушах лихая «Лявониха» с замечательными четырехсложными рифмами: «Лявониха – душа ласковая, черевичками поляскивала».

Не браню своих дней остаток,
Собирая в дорогу кладь.
Бог послал мне восьмой десяток,
А ведь мог бы и не послать.
Я в грядущем себя не вижу:
Дунет ветер – и нет меня.
Мне сегодня прошлое ближе
День становится ото дня.
Постепенно впадая в детство,
Как и прочие старики,
Я пытаюсь в него взглядеться,
Ветхой памяти вопреки.
Вспоминаются, как ни странно,
Ветки яблонь над головой,
Проступающий из тумана
Год далекий сороковой.
Вспоминаю седой от пыли
Белорусский пологий шлях,
Где с родителями мы жили
На Польшковских хуторах.

Довоенного дня горенье
Убирает фитиль в окне.
Доспевает в тазу варенье,
И обещаны пенки мне.
Слитки яблок лежат под крышей.
Мать смеющаяся жива.
Где теперь я еще услышу
Эти ласковые слова?
Сладко пахнет ванилью тесто,
Полыхает, как солнце, медь.
Для того и впадаем в детство,
Чтоб счастливыми умереть.

Собирались мы поехать в Белоруссию под Могилев и в 1941 году, но в мае отцу задержали зарплату, не на что было купить билеты, и родители сняли дачу под Вырицей в Ленинградской области. Это нас спасло.

В 40-м году у меня вдруг отыскивали музыкальный слух, и родители загорелись идеей обучать меня музыке. В начале 41-го отец получил довольно большой по тем временам гонорар за учебник по полиграфии «Производство клише для высокой печати», который ему перевели на сберегательную книжку. Было решено купить пианино, однако внезапно грянувшая война порушила эти наивные планы. Что касается вклада на сберкнижке, то мать смогла получить его только в 44-м, в эвакуации, в Омске. Этих денег хватило на то, чтобы купить на Казачьем базаре на неделю хлеба, масла и яиц. Так что не могу сказать, что мое несостоявшееся музыкальное образование не стоит выведенного яйца.

В том же 40-м году меня отдали для подготовки к школе в частную немецкую группу, где попутно обучали немецкому языку, столь же модному тогда, как теперь английский. Занятия вела опрятная невысокая старушка Агата Юльевна. Мы изучали немецкий алфавит, ставили какие-то пьески на немецком языке, разучивали песенки. Однако времени на изучение немецкого мне также не хватило – началась война.

Колыбельная на три такта.
Отлетающей стаи крик.
Вспоминаешь про детство? Так-то:
Это значит, что ты старик.
В календарь и на паспорт глянь-ка,
Вспоминая далекий год.
Эту песню негромко нянька
Над тобою в ночи поет.

Довоенные бодрь марши,
Молодая шумит листва.
Солнце красной косынкой машет,
Уплывая за острова.
Там костюмы другой эпохи,
Там газеты сулят беду.
И оркестра глухие вздохи
В Соловьевском слышны саду.

Колыбельная на три такта

Возвращает меня назад,
На родную мою Итаку,
В мой покинутый Ленинград.
Там баюкает спящих вьюга,
Там морозная бирюза.
Обними же меня, подруга,
И в мои загляни глаза.

Ты увидишь в них синь залива
Довоенных забытых лет,
И зеленое пламя взрыва,
И прожектора дымный свет.
И когда по ночному тракту
Я отправлюсь к себе домой,
Колыбельную на три такта
Мне вдогонку негромко спой.

Колыбельную на три такта
Надо мною негромко спой.

Блокадный метроном

*Вспоминаю блокадный дом,
В репродукторе метроном.
Видно, мама меня опять
Не отпустит сейчас гулять.
За окошками снег, как мел,
За окошками артобстрел,
Дует ветер во все концы,
И на саночках мертвецы.*

*Поселилась в наш дом беда.
Замерзает в ковше вода.
От буржуйки на грош тепла.
Книги все сожжены дотла.
Ты стучи, метроном, стучи,
Над коптящим огнём свечи,
Чтобы слышал всегда народ,
Что наш город ещё живёт.*

*Нынче маленький метроном
На рояле стоит моём.
И под этот негромкий стук
Изучает октавы внук.
Ты стучи, метроном, стучи,
Ленинградских детей учи,
Чтобы мирные звуки вдаль
Разносил по Земле рояль.*

*Вспоминаю я перед сном
Тот блокадный наш метроном.
И в ночи меня будит вдруг
Ненавязчивый этот звук.
Ты стучи метроном, стучи,
В непроглядной моей ночи,
Чтобы я, не закончив срок,
И на завтра проснуться мог.*

Для меня война началась не 22 июня, а 1 мая 1941 года, на первомайской демонстрации, на которые я любил ходить вместе с отцом. Колонна Картографической фабрики ВМФ, двигавшаяся по улице Герцена, которой сейчас вернули прежнее, дореволюционное название Большая Морская, через Исаакиевскую площадь, ненадолго остановилась у здания немецкого консульства, на котором развевался огромный красный флаг с белым кругом и черной свастикой посередине. Тогда мы еще дружили с Третьим рейхом. Уже потом, в черную зиму блокады и в сибирской эвакуации, мне, как страшный сон, как кошмар, виделся этот гитлеровский флаг, развевающийся над моим родным Ленинградом.

Полыхает кремлевское золото.
Дует с Волги степной суховей.
Вячеслав наш Михайлович Молотов
Принимает берлинских друзей.
Карта мира верстается наново,
Челядь пышный готовит банкет.
Риббентроп преподносит Улановой
Белых роз необъятный букет.

И не знает закройщик из Люблина,
Что сукна не кроить ему впредь,
Что семья его будет загублена,
Что в печи ему завтра гореть.
И не знают студенты из Таллина
И литовский седой садовод,
Что сгниют они волею Сталина
Посреди туруханских болот.

Пакт подписан о ненападении —
Можно вина в бокалы разлить.
Вся Европа сегодня поделена —
Завтра Азию будем делить!
Смотрят гости на Кобу с опаскою.
За стеною ликует народ.
Вождь великий сухое шампанское
За немецкого фюрера пьет.

Я отчетливо помню ясный июньский день, когда отец приехал из города на дачу и сказал, что началась война. В это трудно было поверить – вокруг стояла невозмутимая летняя тишина, и казалось, что ничего не изменилось. Однако изменилось многое. Почти сразу после начала войны, в июле 41-го, моя мать вместе с начальными классами своей школы выехала, забрав меня с собой, в деревню, под Валдай. В соответствии с планом эвакуации, составленным еще перед Финской войной в 39-м году, туда отправили несколько десятков тысяч ленинградских детей. Как вскоре выяснилось, вывезли нас практически навстречу немцам... Уже в первый месяц войны Вермахт вплотную подошел к Валдаю, в то время как Ленинград еще был относительно тылом. Вспоминаю, как громыхали на западе орудийные залпы, горело небо, через деревню тянулись обозы с беженцами и медсанбаты. Линия фронта стремительно приближалась. Многие родители кинулись из Ленинграда за своими детьми, чтобы забрать их обратно. В августе одним из последних эшелонов нас с матерью вывезли в Питер.

Помню бомбежку на станции Малая Вишера, когда мы прятались под вагонами, а вокруг все было красиво освещено яркими осветительными ракетами. (Несколько лет назад в Нью-Йорке я неожиданно встретил женщину примерно моего возраста, с которой, как оказалось, мы тогда ехали в одном вагоне.) Так с горем пополам в конце августа мы добрались до Ленинграда, а 8 сентября немцы взяли Шлиссельбург, и замкнулось кольцо блокады.

Недели первые блокады,
Бои за Гатчину и Мгу,
Горят Бадаевские склады
На низком невском берегу.

Мука сгорает, над районом
Дым поднимается высок,
Красивым пламенем зеленым
Пылает сахарный песок.
Вскипая, вспыхивает масло,
Фонтан выбрасывая вверх.
Три дня над городом не гаснул
Печальный этот фейерверк.
И мы догадывались смутно,
Горячим воздухом дыша,
Что в том огне ежеминутно
Сгорает чья-нибудь душа.
И понимали обреченно,
Вдыхая сладкий аромат,
Что вслед за дымом этим черным
И наши души улетят.
А в город падали снаряды,
Садилось солнце за залив,
И дом сгоревший рухнул рядом,
Бульвар напротив завалив.
Мне позабыть бы это надо,
Да вот, представьте, не могу —
Горят Бадаевские склады
На опаленном берегу.

Осень 1941 года тоже была сухой и погожей. Бомбежки становились все чаще, к ним добавился артиллерийский обстрел. Пайки урезались каждую неделю. К зиме вырубili все деревья на бульваре. Исчезли с улиц и дворов голуби, кошки и собаки. Располагавшийся неподалеку от нашего дома Андреевский рынок из праздничной выставки пищевого изобилия превратился в мрачную пустыню. По городу распространились упорные слухи, что детей воруют, убивают и продают потом на рынках в качестве телятины. Поэтому мать категорически запретила мне выходить на улицу. Отца отправили в Омск, куда была эвакуирована Картографическая фабрика для срочного выпуска военно-морских карт, и мы с матерью остались вдвоем. Началась бесконечная, черная и голодная блокадная зима.

Ветер злей и небо ниже
На границе двух эпох.
Вся и доблесть в том, что выжил,
Что от голода не сдох.
Что не лег с другими рядом
В штабеля замерзших тел,
Что осколок от снаряда
Мимо уха просвистел.
Мой военный опыт жалок
В зиму сумрачную ту.
Не гасил я зажигалок,
Не стоял я на посту.
Вспоминается нередко
Черно-белое кино,

Где смотрю я, семилетка,
В затемненное окно.
Гром разрывов ближе, ближе,
До убежищ далеко.
Вся и доблесть в том, что выжил, —
Выжить было нелегко.

Дом наш загорелся в январе 41-го года не от бомбы и не от снаряда. В квартире выше этажом умерла соседка и оставила непогашенной буржуйку, а гасить понемногу разгоравшийся пожар было нечем – воду тогда приходилось таскать из проруби на Неве. В апреле 42-го через ладожскую Дорогу жизни нас отправили в эвакуацию в Омск, где уже работал отец. Машины шли ночью, с погашенными фарами, чтобы, не дай бог, не заметили немцы. Многие из них гибли, проваливаясь под весенний лед. На восточном берегу Ладоги нас пересадили в товарные вагоны. Для меня блокада тогда кончилась, но я целый год в Омске не ходил в школу – болел дистрофией.

Водитель, который меня через Ладогу вез,
Его разглядеть не сумел я, из кузова глядя.
Он был неприметен, как сотни других в Ленинграде, —
Ушанка да ватник, что намертво к телу прирос.
Водитель, который меня через Ладогу вез,
С другими детьми, истощавшими за зиму эту.
На память о нем ни одной не осталось приметы, —
Высок или нет он, курчав или светловолос.
Связать не могу я обрывки из тех кинолент,
Что в память вместило мое восьмилетнее сердце.
Лишенный тепла, на ветру задубевший брезент,
«Трехтонки» поношенной настежь раскрытая дверца.
Глухими ударами била в колеса вода,
Гремели разрывы, калеча усталые уши.
Вращая баранку, упрямо он правил туда,
Где старая церковь белела на краешке суши.
Он в братской могиле лежит, заметенный пургой,
В других растворив своей жизни недолгой остаток.
Ему говорю я: «Спасибо тебе, дорогой,
За то, что вчера разменял я девятый десяток».
Сдержать не могу я непрошенных старческих слез,
Лишь только заслышу капли весенние трели,
Водитель, который меня через Ладогу вез,
Что долгую жизнь подарил мне в далеком апреле.

В Омске первый год отец почти все время был на казарменном положении – надо было срочно пустить фабрику. Мать сначала пошла работать вахтером (за это давали рабочую карточку), а к 44-му году освоила специальность сначала корректора, а потом технического редактора в Гидрографии, где и проработала до пенсии. Около двадцати пяти лет, уже после войны, она редактировала морские лоции, штурманские таблицы и наставления для мореплавателей. Вспоминаю, что уже через десятки лет, во время долгих плаваний на «Крузенштерне» и других гидрографических судах, открывая по ночам на вахте в штурманской рубке увесистые тома

морских лоций, в выходных данных я не без гордости читал: «Технический редактор Р.М. Городницкая».

В эвакуации, в Омске, я пошел в школу сразу во второй класс. Время было голодное. Из-за дистрофии и авитаминоза начался жесточайший стоматит. Весь рот внутри покрылся нарывами, не давая есть. Немногие носильные вещи, захваченные из Ленинграда, были довольно скоро обменяны на продукты. Спасала посаженная нами картошка, которая заменяла все. Там, в эвакуации, класса с третьего я пристрастился к чтению. В доме на Войсковой улице, где нас поселили, каким-то образом оказались подшивки старых журналов «Вокруг света». Надолго прикованный к постели, я перечитывал их по много раз, наивно мечтая о дальних путешествиях. Может быть, именно поэтому география стала моим любимым предметом.

Сюда же в Омск был эвакуирован из Москвы Театр имени Евгения Вахтангова, так что первый мой выход в драматический театр состоялся в Омске. Было это, кажется, уже в 43-м году. На сцене шел «Сирано де Бержерак» в переводе Щепкиной-Куперник. Мне посчастливилось месяца за два до этого прочесть однотомник Ростана, так что всего «Сирано» я знал почти наизусть. В конце первого акта, действие которого происходит в театре, король проходит со свитой через сцену и говорит: «Что сегодня было на ужин!» К всеобщей радости публики, актер, игравший короля, под сильным впечатлением от собственного ужина, а возможно, и в мечтах о нем, неожиданно сказал: «Что сегодня было на ужин – биточки!»

Однако основу культурной жизни в эвакуации составляло кино. Его крутили в клубе Гидрографии по два раза в неделю. И песни, впервые прозвучавшие с экрана, надолго овладевали зрителями. Помню, как поразил меня фильм «Большой вальс», как все мальчишки после фильма «Три мушкетера» постоянно распевали на пыльных омских улицах бодрую песенку д'Артаньяна: «Вар, вар, вар, вар, вара, я еду на коне», но более всего запомнился мне Марк Бернес в фильме «Два бойца» с его знаменитой песней «Темная ночь». Кинофильм этот был особенно близок мне еще и потому, что действие его проходило в недоступном для меня тогда Ленинграде.

Вместе с тем, когда я думаю об истоках авторской песни в нашей стране, я полагаю, что ее зачинателями были не только Булат Окуджава и другие авторы начала 60-х. Их предтечей в военные годы был и Марк Бернес с гитарой в руках, который среди грохота бомб и снарядов «ревущих сороковых» впервые открыл для нас ее задушевную интонацию. И если именно интонация, негромкий, но проникающий в самое сердце голос – отличительная особенность этого жанра, то Марка Бернеса можно с уверенностью относить к одному из его основателей. И это в те времена, когда гитара еще обличалась как символ мещанства. Не случайно песня «Темная ночь», сразу же выделившись на гремящем фоне грозных и бравых военных песен, за несколько недель облетела всю страну, стала любимой на фронте и в тылу, породила массу веселых и грустных пародий типа: «Ты меня ждешь, а сама с офицером живешь и от детской кровати тайком ты в ДК убегаешь».

Открыв для себя Бернеса на этой песне, я стал буквально отслеживать все его роли. Оказалось, что удивительная и точная интонация его негромкого речитатива звучит во всех песнях, которые он поет, – и в кинофильме «Истребители» («В далекий край товарищ улетает»), и даже в не слишком удачной песне о Ленинграде («Слушай, Ленинград, / Я тебе спою / Задушевную песню мою»). Все песни он пел так, как будто сам их написал. При этом задушевность исполнения совершенно не зависела от сопровождающего инструмента – это могла быть гитара («Темная ночь»), рояль («В далекий край товарищ улетает») и даже гармошка («Тучи над городом встали»).

В Омске я впервые понял, что песня может не только радовать, но вызывать чувство обиды и стыда. Когда, оправившись от болезни, я впервые вышел во двор нашего дома, словоохотливые омские мальчишки во дворе, обозвав меня жиденком, популярно объяснили мне, что это значит. Хорошо помню растерянные лица родителей, к которым я кинулся за объясне-

ниями. Они ничего мне не смогли объяснить. Помню, как долго плакал и ни за что не хотел быть евреем, хотел быть как все вокруг. В связи с этим на долгие годы запомнилась мне весьма популярная в то время антисемитская песенка, распевавшаяся дразнившими меня мальчишками, на мотив песни «В кейптаунском порту» и начинавшаяся строчками: «Старушка не спеша дорожку перешла, ее остановил милиционер». До сих пор, когда я вспоминаю ее, сердце сжимается от жгучего чувства детской обиды. Уже значительно позднее я узнал о настоящих нацистских песнях, распевавшихся в гитлеровской Германии, и понял, какой страшной может быть песня, призывающая к убийству и погромам.

Было трудно мне первое время
Пережить свой позор и испуг,
Став евреем среди неевреев,
Не таким, как другие вокруг,
Отлученным капризом природы
От ровесников шумной среды.
Помню, в Омске в военные годы
Воробьев называли «жиды».
Позабыты великие битвы,
Неприкаянных беженцев быт, —
Ничего до сих пор не забыто
Из мальчишеских первых обид.
И когда вспоминаю со страхом
Невеселое это житье,
С бесприютною рыжею птахой
Я родство ощущаю свое,
Под чужую забившейся кровлю,
В ожидании новых угроз.
Не орел, что питается кровью,
Не владыка морей альбатрос,
Не павлин, что устал от ужимок,
И не филин, полуночный тать,
Не гусак, заплывающий жиром,
Потерявший способность летать.
Только он мне по-прежнему дорог,
Представитель пернатых жидов,
Что, чирикая, пляшет «семь сорок»
На асфальте чужих городов.

Несколько лет назад, работая над автобиографическим фильмом «Атланты держат небо...», я со съемочной группой побывал в Омске. Надо сказать, что в огромном современном промышленном городе я не узнал того Омска военных лет, где прожил четыре года эвакуации. Пытался найти наш омский дом, но, видимо, он уже не существует. А проблемы того времени существуют до сих пор.

Из всех дней, проведенных в Омске, отчетливо всплывает в памяти самое радостное событие – День Победы в 1945 году. Город был на военном положении, но школы и госпитали работали вовсю. Помню, что, когда я учился во втором и третьем классах, мы читали стихи раненым. Время было очень тяжелое, голодное. Первые диктанты писались в самодельных тетрадках из оберточной бумаги. Но борьба с общим врагом и наша общая Победа над ним объединяли людей.

В сентябре 45-го мы возвратились в родной Ленинград. Поскольку дом наш на Васильевском сгорел, отцу выписали ордер на комнату, разрушенную попаданием снаряда, в большом доме на углу Мойки и Фонарного переулка. На время ремонта нас почти на три месяца приютила семья Карцевых, с которыми мои родители познакомились в начале эвакуации, в товарном вагоне эшелона, идущего в Омск. Глава семьи Георгий Николаевич был старым «морским волком» и еще до войны много лет проработал в Главсевморпути. Только в конце ноября мы с родителями наконец-то перебрались в собственную комнату в большой коммунальной квартире на Мойке, 82, где я прожил более десяти лет.

Война для меня закончилась. Но ее отзвуки еще не раз возникали в моей жизни. Моя мать умерла в 1981 году от очередного инфаркта. Сама она за всю свою жизнь, кроме повседневной работы и забот по дому, ничего не видела и, уж конечно, за границей не бывала и по морям не плавала. Последние годы мать мучили постоянные страхи за меня и за отца, превращавшиеся в нервную болезнь. Она боялась взять телефонную трубку, открыть дверь на внезапный ночной звонок. Когда я задерживался вечером в городе, она могла часами стоять у окна, с тревогой вглядываясь в темноту. При этом к моим многомесячным экспедициям в Арктику и дальние моря она относилась спокойно, даже зная о риске во время погружений на подводных аппаратах. Все это происходило как бы вне ее реальной жизни и не вызывало такого беспокойства, как мои вечерние опоздания.

Все невзгоды нашей семьи ложились на хрупкие мамины плечи. Ее любили, кажется, все вокруг – и домочадцы, и соседи. Каждого вошедшего в дом она старалась прежде всего накормить, хорошо помня черные военные годы. Более всего боялась обременить кого-нибудь собой, причинить неудобство. Терпеть не могла долгов и внушила эту нетерпимость мне. В доме, несмотря на нужду, всегда поддерживала медицинскую чистоту. Она и умерла оттого, что, почувствовав себя плохо и уже вызвав врача, вдруг решила вытереть пол, показавшийся ей недостаточно чистым.

Ее внезапная смерть в ноябре 81-го года, по существу, сломала отца. Он потерял интерес к жизни, хотя был человеком любознательным и общительным. В январе 1985 года у него обнаружили рак легких, к сожалению, неоперабельный. Летом того же года мы с женой не без труда уговорили его переехать к нам в Москву (он долго сопротивлялся этому переезду, не желая уезжать от могилы матери). Скрывая от него смертельный диагноз и стараясь отвлечь от размышлений о болезни, я предложил ему написать воспоминания о его детстве и юности. Будучи человеком, приученным к порядку и каждодневному труду, он завел конторскую книгу и начал аккуратно записывать туда свои воспоминания. Работал он, к несчастью, недолго. 6 мая 1986 года он умер на моих руках от горлового кровотечения.

Отца никак не вспомню молодым:
Все седина, да лысина, да кашель.
Завидую родителям моим,
Ни почестей, ни денег не снискавшим.
Завидую, со временем ценя
В наследство мне доставшиеся гены,
Их жизни, недоступной для меня,
Где не было обмана и измены.
Безропотной покорности судьбе,
Пренебреженью к холоду и боли,
Умению быть равными себе
И презирать торгашество любое.
Они, весь век горбятя на страну,
Не нажили квартиру или виллу,

Деля при жизни комнатку одну,
А после смерти – тесную могилу.
Чем мы живем сегодня и горим?
Что в полумраке будущего ищем?
Завидую родителям моим,
Наивным, обездоленным и нищим.

Когда я думаю о счастливых семейных парах, в наше время достаточно редких и нетипичных, то всегда вспоминаю своих родителей. Сейчас они лежат рядом под одним надгробным камнем на Казанском кладбище в Царском Селе, и я рано или поздно надеюсь к ним присоединиться.

Каждый раз по приезде в Питер навещаю их могилу, расположенную в конце еврейского участка, я прохожу мимо древнего покосившегося и заросшего мхом могильного камня с изображением могоендовида и надписями золочеными буквами по-русски и на иврите. Здесь похоронен в 1896 году лейб-гвардии фельдфебель Шимон Черкасский, видимо, выходец из кантонистов, отдавший жизнь за обретенную им негостеприимную родину. Зброшенная эта могила поневоле заставляет задуматься о собственной судьбе.

Кавалер Святого Георгия,
фельдфебель Шимон Черкасский,
Что лежит на Казанском кладбище
в Царском Селе осеннем,
Представитель моей отверженной
в этой державе касты,
Свой последний бивак наладивший
здесь под дубовой сенью.

Гренадер императорской гвардии,
выходец из кантонистов —
Нелюбимых российских пасынков
выпала с ним судьба нам.
Неродного отечества ради
был он в бою неистов,
Управляясь в часы опасности
с саблей и барабаном.

Давний предок единокровный мой
фельдфебель Шимон Черкасский,
За отвагу на поле брани
орден свой получивший,
Обладатель ружья огромного
и медной блестящей каски,
В девяносто четвертом раненный,
в девяносто шестом — почивший.

Ах, земля, где всегда не хватало нам
места под облаками,
Но которую любим искренне,
что там ни говорите!

Ощущаю я зависть тайную,
видя надгробный камень,
Где заслуги его записаны
по-русски и на иврите.

И когда о последнем старте я
думаю без опаски
И стараюсь представить мысленно
путь недалекий сей свой,
Вспоминается мне лейб-гвардии
фельдфебель Шимон Черкасский,
Что лежит под опавшими листьями
на окраине царскосельской.

Что же касается «Эха войны», то оно еще немало лет возвращалось ко мне. Дождливый сентябрьским днем 2000 года мне довелось принимать участие в официальной церемонии открытия немецкого военного кладбища в деревне Сологубовке под Мгой, неподалеку от Синявинских высот, для немецких солдат, погибших под Ленинградом в годы войны. Здесь в 1941–1944 годах, когда немецкие войска полностью блокировали Ленинград, неподалеку от ладожской Дороги жизни шли самые жестокие бои, в которых погибли сотни тысяч солдат Красной Армии и Вермахта. Именно здесь, на ладожском направлении, в топких синявинских болотах воевал и был ранен в 42-м молодой лейтенант Александр Межиров, написавший прекрасные стихи «Воспоминание о пехоте»:

Пули, которые посланы мной, не возвращаются из полета.
Очереди пулемета режут под корень траву.
Я сплю, положив голову на синявинские болота,
А ноги мои упираются в Ладугу и Неву.

Здесь же неподалеку находится деревушка Лодва, где отбивал упорные атаки наседавших немцев юный солдат-разведчик Давид Самойлов:

Рукоположения в поэты
Мы не знали. И старик Державин
Нас не заметил, не благословил...
В эту пору мы держали
Оборону под деревней Лодвой.
На земле холодной и болотной
С пулеметом я лежал своим.

Здесь, в деревне Сологубовке, было решено открыть военное кладбище для немецких солдат. История этого кладбища была непростой. Во время войны на территории Ленинградской области было захоронено около четырехсот тысяч солдат Вермахта. После 1945 года, в точном соответствии с директивой ЦК КПСС, все немецкие воинские кладбища были стерты с лица земли. Под Петербургом сохранилось одно-единственное немецкое военное кладбище, под Сестрорецком. С 1992 года, когда впервые было подписано российско-германское соглашение по уходу за воинскими захоронениями, в Петербург и в Ленинградскую область стали приезжать с туристскими группами и поодиночке немецкие ветераны и родственники тех, чья жизнь оборвалась в годы войны на ленинградской земле. Мало-помалу сам собой сло-

жился традиционный маршрут, который приезжавшие немцы по собственной инициативе обязательно начинали с возложения венков на Пискаревском кладбище. Как сказал генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге Дитер Боден: «Каждый житель Германии, посещающий Петербург, должен воспринимать его не только как сокровищницу мировой культуры, но и как трагическую страницу немецкой истории».

Писатель Даниил Гранин, бывший фронтовик, выступил в «Литературной газете» с инициативой установить на Пулковских высотах Крест примирения, чтобы его «простой ясный знак осенил память жертв при наступлении Юденича, сражений белых и красных, русских и немцев». В 1993 году в Питере возник центр международного сотрудничества «Примирение». Его председатель Юрий Лебедев сказал: «Почему именно «примирение»? Слово «мир» нравится мне меньше. С этим словом за тысячелетия непрерывных конфликтов произошла ужасная вещь: оно все чаще используется политиками для развязывания войн... Само понятие примирения подразумевает четырехступенчатый процесс: сначала нужно познакомиться, затем понять друг друга, примириться и в конце концов подружиться». Лебедев припомнил известные слова Альберта Швейцера: «Отношение к военным могилам свидетельствует о культуре нации».

Были и другие мнения. Так, известный телерепортер Александр Невзоров в свойственной ему манере представил попытку немцев установить памятный знак в районе Красного Села как «очередную оргию фашиствующих молодчиков».

На открытии кладбища в Сологубовке молодые женщины, восстанавливавшие немецкие могилы, жаловались мне, что в деревне им вслед кричали: «Подстилки немецкие! Вас всех повесить надо!» Кстати, под Ленинградом воевали не только немцы. Здесь, в районе Стрельны, Красного Села, Пушкина, воевали солдаты испанской «Голубой дивизии», норвежского, голландского, бельгийского легионов, сотни поляков, латышей, эстонцев. Были даже французы из Эльзас-Лотарингии, которые ни слова не знали по-немецки.

Теперь, спустя более полувека, бывшие враги разыскивают на многострадальной ленинградской земле, начиненной осколками, своих погибших родственников. Оказалось, что в иностранных архивах сохранились фотографии каждого военного кладбища, каждой немецкой могилы. «Когда родственники погибших немецких солдат привозят с собой эти документы, просят разыскать места захоронений своих родных, становится стыдно, – пишет Юрий Лебедев. – Стыдно, когда видишь, как варварски обошлись с этими местами... Когда на этом месте устраивается свалка, когда кости разбрасываются по округе мародерами, а мальчишки «стреляют» камнями по черепам, становится жутко».

В 1996 году Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями приступил к строительству в деревне Сологубовке под Мгой крупнейшего немецкого кладбища. На церемонии открытия мне рассказывали, что наших русских ветеранов, которые не всегда однозначно реагировали на строительство кладбища, пригласили в Германию и показали, как ухожены там военные кладбища советских солдат. Это сразу же убедило.

На официальное открытие кладбища в Сологубовке прибыло более тысячи немецких ветеранов и родственников погибших. Возглавляли официальную делегацию бургомистр Гамбурга, города-побратима Петербурга еще с 1957 года, и немецкий посол в России. Церемония первого дня началась с возложения венков к памятнику жертвам ленинградской блокады на Средней Рогатке в конце Московского проспекта. В тот же день были возложены венки на Пискаревском мемориальном кладбище, и в лютеранской церкви Святого Петра и Павла на Невском состоялось богослужение памяти погибших солдат. Вечером состоялся обязательный по такому случаю банкет с обилием официальных речей и тостов.

На второй день автобусы с участниками церемонии отправились в сторону Мги, сначала на Синявинские высоты, где были возложены венки к обелиску памяти погибших здесь советских солдат, и далее в деревню Сологубовка. Здесь на церковной земле была выделена терри-

тория в пять гектаров для сооружения кладбища. Церемония началась с православного богослужения у большого деревянного креста, установленного перед руинами церкви, на которое собралось много местного населения. Службу вел местный священник, отец Вячеслав, окончивший технический вуз и свободно владеющий несколькими языками. Рядом стояли лютеранские священники, также освящавшие кладбище. Потом участники церемонии в сопровождении многочисленного милицейского оцепления двинулись за каменную ограду, ворота которой были украшены немецкими флагами, на территорию будущего кладбища. Здесь на покрытом короткой стриженной травой поле стояли по три невысоких гранитных креста. В нескольких местах поднимались редкие саженцы деревьев и стояли небольшие гранитные стелы с именами погибших.

Родственники погибших, их дети и внуки, уже ставшие седыми и старыми, несли с собой свечи и вечно молодые фотографии своих сгинувших здесь отцов. Более полувека они безуспешно пытались разыскать эти могилы. Им показывали примерную территорию, где захоронены останки их близких. Они втыкали в рыхлую землю зажженную свечу, укрепляли возле нее фотографию, клали рядом цветы, ложились или садились на поросшую редкой травой глину и плакали. У дальней ограды кладбища в нескольких армейских палатках был организован обед. Там дымили полевые кухни. Каждому входящему в палатку давали в руки металлическую миску с мясным гуляшом и гречневой кашей и стопку водки.

Мне почему-то запомнилось, как уже в конце официальной части какой-то человек из obsługi начал торопливо снимать с ворот кладбища немецкие флаги. На просьбу съемочной группы подождать до конца телевизионной съемки он ответил: «Что вы, нельзя – немедленно все сопрут».

Больные и согбенные старики, бывшие немецкие танкисты и наши пехотинцы, обнимались и плакали, поминая погибших. Выяснилось, что у немцев тоже были заградотряды, стрелявшие в своих, если те отступали. Вокруг сочувственно ахали местные бабки в белых платочках. Они поведали нам, что в годы войны партизан подо Мгой не было. Были только наши солдаты, бежавшие из немецкого лагеря. Трех из наших бежавших военнопленных выдала немцам местная крестьянка за триста немецких марок. «Да как же не выдать, – сочувственно объясняли старушки, – у нее четверо детей было, их кормить было нечем». Живется здесь и сейчас невесело. Прежде был совхоз-миллионер с породистыми коровами. Сейчас – нищета, разорение и бескормица.

Теперь, когда минуло более полувека, бывшие рядовые армии противника тоже стали для наших людей жертвами войны. Ведь немецкие солдаты также вынуждены были выполнять приказ. Вряд ли им всем, даже одурманенным нацистской пропагандой, так уж хотелось умирать на чужой земле. Немцы подарили мне изданный в Германии дневник погибшего в этих местах немецкого солдата Вольфганга Буффа, начатый 29 сентября 1941-го и оборвавшийся 14 января 1942 года. В дневнике есть и стихи, очень невеселые.

Как знать, может быть, именно моему родному многострадальному Питеру суждено стать в истории первым городом-миротворцем враждовавших народов? По проекту питерских архитекторов в Сологубовке были сооружены кладбище, рассчитанное на захоронение 80 тысяч погибших немецких солдат (самое большое в мире немецкое военное кладбище) и примыкающий к кладбищу Парк мира, символизирующий бессмысленность войны и означающий примирение. Также была восстановлена и отреставрирована русская православная церковь Успения Богородицы. Церковь эта, освященная в 1851 году, в конце 1920-х годов была разграблена, а в 37-м закрыта. В подвале церкви во время войны находился полевой госпиталь Вермахта, поэтому она была разрушена ударами советской авиации.

Еще в 1961 году известный московский художник Борис Неменский написал картину «Безымянная высота», на которой изображены двое лежащих голова к голове молодых парней – русский и немецкий солдаты, убившие друг друга в рукопашном бою на безымянной высоте.

Лицо русского солдата обращено к небу. Немец уткнулся лицом в землю. Оба юноши, одетые в солдатскую форму враждующих армий, почти дети, одинаково беспомощны перед смертью. Пожалуй, это единственная из многочисленных картин о войне советского периода, ярко и выразительно показывающая, что война – это не победа и героизм, а страдание и смерть.

Картина вызвала яростное поношение советской критики. Художника обвинили в отсутствии патриотизма и буржуазном пацифизме. Более всего высокопоставленных идеологов советского искусства возмутило, что на картине смерть уравнила захватчика-немца и защитника-русского. Это никак не вписывалось в многолетний привитый нам еще с военных лет стереотип немец-нацист. Несмотря на хрущевскую либеральную оттепель, после ожесточенных споров картина была убрана в запасники. Пытаясь спасти картину, художник сделал ее вариант, где изобразил немца со звероподобным лицом, но и это не помогло. Цензура была неумолима. Только через тридцать лет картина смогла увидеть свет.

Известный немецкий коллекционер Петер Людвиг купил один из вариантов картины и повесил в своем музее в городе Ахене в Германии на одном из самых почетных мест. Там был открыт конкурс на тему «Память о войне и примирение глазами молодежи». Такой же конкурс в 1997 году был организован и в Петербурге центром международного сотрудничества «Примирение».

О нем было рассказано в радиопередаче «Исторический клуб», которую вел профессор Виталий Иванович Старцев. Целью конкурса было укрепление взаимопонимания молодежи городов-побратимов Санкт-Петербурга и Гамбурга через творческое переосмысление уроков Второй мировой войны. Основой для конкурса была предложена картина Неменского. Ребятам попросили нарисовать еще что-нибудь на эту тему. Сначала казалось непонятным: как можно нарисовать примирение? Вот войну, например, можно нарисовать, мир – тоже, а примирение как? «Мы сами не знаем, что такое примирение. Зачем же эту идею детям навязывать? – возмущался директор одной из художественных школ. – Давайте заменим тему на «Мир и дружба: Петербург – Гамбург». Детям будет слишком сложно понять эту тему».

Но одна за другой на конкурс стали поступать детские работы, которых набралось более пятидесяти. При этом решения были самые нестандартные. Меня более других тронул рисунок четырнадцатилетней девочки. На рисунке изображены две могилы рядом на пригорке. На одной могиле – немецкий крест с каской, пробитой пулей, на другой – звездочка на фанерном постаменте и висящая на ней пробитая пилотка. Так появилась песня «Ленинградские дети рисуют войну», исполненная впервые на церемонии открытия немецкого военного кладбища.

В июле 2003 года мне в качестве геофизика довелось принимать участие в экспедиции на военном гидрографическом судне «Сенеж». Мы вышли из Мурманска в северо-восточную часть Баренцева моря к берегам архипелага Новая Земля, к тем местам, где в 42-м году погиб печально известный Полярный конвой PQ-17. В 1941–1942 годах, когда напавший Третий рейх уничтожил большое количество танков и самолетов Красной Армии, союзники начали поставлять Советскому Союзу необходимое вооружение. Значительная часть грузов из Канады и США шла в Великобританию и Исландию, а оттуда через Арктику в северные порты СССР. Назывались эти караваны транспортных судов, охраняемых военными кораблями, конвоями. Мурманск и Архангельск в годы войны стали постоянными пунктами назначения для конвоев с ценными стратегическими грузами. Чтобы топить суда союзников, немцы специально сосредоточили в районе Норвегии и в других полярных областях значительные силы флота и авиации. Уже после войны выяснилось, что база немецких подводок была даже на Новой Земле.

Судьбы конвоев складывались по-разному, но большинство из них благополучно достигало русских берегов. Трагическая судьба конвоя PQ-17 наиболее известна, поскольку он был почти полностью уничтожен, когда в июле 42-го по личному указанию первого морского лорда сэра Дадли Паунда его бросили на произвол судьбы британские корабли боевого охранения. Судам конвоя был отдан приказ рассредоточиться и поодиночке пробиваться в русские порты.

Тихоходные и беззащитные транспорты, таким образом, были отданы на растерзание немецким подводным лодкам и авиации. Причины этого сих пор не ясны. Немцы атаковали суда конвоя методом «волчьей стаи», разом ударив и из-под воды, и с воздуха. В результате были потеряны сотни единиц военной техники, из 35 кораблей конвоя до Архангельска добрались только 11, а более 150 моряков навсегда нашли покой на дне Баренцева моря.

Надо заметить, что советские моряки проявили большое мужество, спасая тонущих союзников. В частности, отличился сторожевик «Мурманец», на котором служил штурманом старший лейтенант Валентин Валентинович Дремлюг. Он лично спас более сорока человек. Сейчас ему далеко за девяносто, он профессор Государственной морской академии имени адмирала С.О. Макарова и один из крупнейших российских океанологов.

В 2003 году общественной организацией «Полярный конвой» совместно с командованием Северного флота была организована мемориальная экспедиция, которую возглавил один из крупнейших российских гидрографов контр-адмирал Вячеслав Анатольевич Солодов, недавно безвременно ушедший из жизни. Поставленная перед геофизиками задача состояла в том, чтобы у берегов Новой Земли по примерным координатам, известным из архивных документов, найти погибшие суда конвоя PQ-17. Отрядом геофизиков на судне «Сенеж» руководил замечательный российский ученый, профессор Михаил Александрович Спиридонов. При поиске затонувших кораблей мы использовали современную аппаратуру: систему спутниковой навигации, многолучевой эхолот, специальный глубоководный аппарат, предназначенный для видеонаблюдения дна, подводных объектов и гидролокатор бокового обзора с высокой разрешающей способностью, который позволяет находить объекты на морском дне в широкой полосе – до пятисот метров от судна.

Нам удалось обнаружить два американских транспорта – «Олапама» и «Алко-Рейнджер», правда, несколько в стороне от предполагаемого места их гибели. Оба этих судна были торпедированы одной и той же немецкой подводной лодкой U-255. На экране гидролокатора получилась отчетливая картинка: были видны даже несколько танков, выпавших с борта транспорта «Олапама». А ведь прошло уже шестьдесят лет. В таких случаях судно, как правило, полностью или частично заносится донными осадками, и для его обнаружения приходится применять магнитную съемку. Так, к примеру, произошло с найденным в 1981 году в Баренцевом море британским легким крейсером «Эдинбург», который в апреле 42-го перевозил из Мурманска в Великобританию большой груз золота в качестве оплаты за военные поставки.

В мемориальный рейс на судне «Сенеж» вместе с учеными и военными пошли ветераны Полярных конвоев, не испугавшиеся, несмотря на преклонный возраст, отправиться в штормовое Баренцево море: канадцы, американцы, англичане и, конечно, русские. Каждый из этих смельчаков заслуживает отдельного рассказа.

Например, Евграф Евлогиевич Яковлев – потомственный помор из архангельской деревни. В четырнадцать лет в 1943 году он поступил в школу юнг на Соловках и прошел путь до капитана. Во время войны служил на переоборудованном из лесовоза танкере «Михаил Фрунзе». На палубе перевозили бочки с бензином, и однажды, во время налета немецкой авиации, он под вражеским огнем сорвал с емкостей вспыхнувший брезент, спасая судно от взрыва. «А вы не боялись?» – спросил я его. «Боялся, что от начальства попадет, – брезент-то новый», – бесхитростно ответил ветеран. Поразил меня и его рассказ о том, как после бомбежки он переживал об испорченной новой «фланельке»: мол, испачкал казенную форму чем-то черным. Оказывается, это была кровь – в него угодил осколок...

Другой замечательный потомственный моряк – Алексей Андреевич Нахимовский. Когда-то его отца, родившегося в Китае, подобрал и «усыновил» экипаж броненосного крейсера «Нахимов». От названия корабля пошла их фамилия.

Капитан 1-го ранга Анатолий Львович Лившиц, ходивший штурманом на эсминцах, участвовал в 23 союзных и 20 внутренних конвоях. За годы войны он прошел почти сто тысяч

морских миль, зачастую в сложнейших штормовых условиях. Пятнадцать раз эсминцы, которым он прокладывал курс, атаковали глубинными бомбами немецкие подлодки. Две из них были потоплены, а еще две – повреждены.

Канадским и британским ветеранам тоже было что вспомнить. Так, Роберт Ферли рассказал мне, что в 44-м году он перевозил из Британии в Мурманск тысячи советских военнопленных, которых Черчилль выдал Сталину. Другой канадец – капитан торгового флота Хилл Вилсон начал службу кадетом в Атлантических конвоях, а в конце войны стал старпомом на танкере. Англичанин Уильям («Билл») Лоус был сержантом Королевских ВВС, у него случился роман с русской девушкой Зиной. Уильям делился с ней своим армейским пайком, спасая от голодной смерти, и вот спустя шестьдесят лет 83-летние «Ромео» и «Джюльетта» вновь встретились в Архангельске.

В числе прочих был и немец, бывший полковник Люфтваффе Хайо Херрманн. В 1942 году он командовал группой (это примерно соответствовало нашему авиаполку) бомбардировщиков «Юнкерс-88», которые топили конвои союзников. Он – личный друг Геринга, один из самых влиятельных офицеров Люфтваффе, летчик, награжденный всеми боевыми орденами Третьего рейха, неоднократно бывавший на приемах у Гитлера. В 2003 году ему исполнилось 90 лет. Седой, высокий и статный старик с жестким и твердым характером, «настоящий ариец». На счету Херрманна 12 потопленных кораблей общим тоннажем 70 тысяч тонн. Он трижды горел в небе и выбрасывался с парашютом. Его подразделение полностью выбивали, а он оставался живым и получал новое назначение. Переквалифицировавшись в истребители, Херрманн стал командиром ночной истребительной эскадры, отражавшей массовые налеты союзников на немецкие города, и лично сбил 9 тяжелых бомбардировщиков. В 45-м в Австрии его взяли в плен и отправили в воркутинские лагеря. Не зная русского языка, он дважды пытался бежать оттуда, но был пойман. Самостоятельно изучил русский язык. За справедливость и жесткий характер был избран эками старостой барака. На всю жизнь его любимой песней стала «Широка страна моя родная». Но взгляды его после войны не изменились – он считал, что воевал за Великую Германию. В последние годы Херрманн работал адвокатом в Дюссельдорфе, где вел дела по защите нацистских преступников, неонацистов и «историков», отрицающих Холокост. В ноябре 2010 года он умер.

Внук одного из наших ветеранов, узнав об участии в экспедиции бывшего врага, с надеждой спросил: «Дедушка, а вы его там утопите?» Ничего подобного, конечно, не произошло. Состоялась невероятно трогательная сцена примирения бывших врагов. Деды плакали, обнимались и вместе опускали венки на воду. Для них эта экспедиция стала актом примирения. Наверное, это естественно для людей, проживших трудную, полную противоречий жизнь, которые не хотят испытывать мстительных, враждебных чувств друг к другу.

В рейсе мы с Хайо Херрманном подружились и даже выпивали по рюмке. Все шло хорошо, но когда он узнал, что я – еврей, то сильно расстроился. На бывшего храброго летчика буквально жалко было смотреть. Я ему понравился, и Хайо очень не хотелось, чтобы я был евреем. «Александр, – спросил он дрожащим голосом, – может быть, ты только наполовину еврей?» – «Как говаривал твой дружок Геринг, наполовину евреев не бывает. Понял?» – отрезал я. Он безнадежно махнул рукой, принял сразу две таблетки валидола и ушел спать в свою каюту.

Хайо Херрманн подарил мне свою фотографию военных лет с крестами и орденами. Во время рейса я написал песню в память о конвое PQ-17, и он перевел ее на немецкий язык. «Александр, – сказал он мне, – у тебя в песне одна строчка неправильная. Ты пишешь, что хорошо, чтобы погода была нелетной. Это неправильно. Хорошо, когда она летная». – «Это вам, сволочам, нужна летная погода, чтобы нас бомбить, – ответил я, – а морякам – наоборот». Он, кажется, понял. Эта песня звучит в документальном фильме о конвое PQ-17, снятом во

время нашей экспедиции немецкими тележурналистами, русский вариант которого мне довелось озвучивать и который был назван по строчке из этой песни – «Корабли собирает конвой».

Аргумент в неоконченном споре —
Злой сирены пронзительный вой.
Для похода в студеное море
Корабли собирает конвой.
Им волна раскрывает объятия,
Им поют, провожая, гудки.
Это ваши друзья или братья —
Помолитесь за них, моряки.

Каждый твердо в звезду свою верит.
Только знать никому не дано,
Кто сумеет вернуться на берег,
Кто уйдет на холодное дно.
Не дожить им до скорой победы,
Ненадежной мечте вопреки.
Это ваши отцы или деды —
Помолитесь за них, моряки.

Вспомним тех, кто стоит у штурвала,
Чтоб погода нелетной была,
Чтобы бомба суда миновала
И торпеда в пути обошла.
Отлетают их светлые души,
Словно чайки в полете, легки.
Никому не добраться до суши —
Помолитесь за них, моряки.

Над водою, соленой от горя,
День полярный горит синевой.
Для похода в студеное море
Корабли собирает конвой.
Там грохочут салюты прибоя
И намокшие тонут венки.
Это те, кто закрыл вас собою, —
Помолитесь за них, моряки.

По окончании нашей экспедиции в Питере на моем родном Васильевском острове в храме Успения Богородицы состоялся молебен памяти моряков Полярных конвоев, погибших в годы войны.

«Вождей и воинов, на поле брани убиенных,
Прими к себе и память сотвори».
Нестройный хор звучит в церковных стенах,
Где пахнет свежей известью внутри.
Здесь отпевают моряков конвоев,
Что сгинули отсюда вдалеке.

Меж прочих с непокрытой головою
Стою и я со свечкою в руке.
Забытые припоминая раны,
Под флагами союзных прежде стран
Среди других согбенных ветеранов
Стою и я, как будто ветеран.
Поскольку здесь мой дом сгорел в блокаду,
В которую мне выжить довелось,
И сам я уроженец Ленинграда
И Петербурга нынешнего гость.
Знаком мне с детства чаек этих гомон
И монументов бронзовая рать.
Сюда и сам я, не в пример другому,
Когда-нибудь отправлюсь умирать.
А девушки поют в церковном хоре,
И далеко от питерской земли
Шумит в тумане Баренцево море,
Погибшие скрывая корабли.

В мае 2012 года, накануне Дня Победы, я попал в Севастополь. Там открывали мемориал на мысе Херсонес, где в годы войны располагалась знаменитая 35-я батарея береговой обороны. Именно здесь были сосредоточены остатки Приморской армии, героически оборонявшей Одессу и Севастополь, около ста тысяч человек. Людей должны были эвакуировать на побережье Кавказа. Однако, когда положение стало безнадежным, Ставка Верховного Главнокомандования приняла предательское решение не эвакуировать армию. Более того, была практически прекращена доставка подкреплений, продовольствия и боеприпасов. Вместо этого было дано издевательское секретное указание тайно эвакуировать несколько сотен «наиболее ценных» военных и партийных работников. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Ф.С. Октябрьский бежал на самолете, командующий Приморской армией генерал-майор И.Е. Петров – на подводной лодке. Стотысячная армия была брошена на растерзание войскам Эриха фон Манштейна, за взятие Севастополя удостоенного Гитлером звания генерал-фельдмаршала.

Посадка на подводные лодки командования Приморской армии и Севастопольского оборонительного района проходила на глазах у сотен людей. Поэтому, естественно, не обошлась без эксцессов. Из толпы прозвучали не только ругательства в адрес командования, но и автоматная очередь, попавшая в шедшего перед генералом Петровым начальника отдела укомплектования Приморской армии. Экипаж подводной лодки, боясь перегруза, сталкивал обратно в воду пытавшихся взобраться на палубу красноармейцев и матросов, достигших лодки вплавь в надежде эвакуироваться. Ночью подлодка вышла в Новороссийск. Утром за ней последовала другая субмарина, взяв на борт 117 руководителей Севастопольского оборонительного района и города. Однако многие командиры остались со своими бойцами. Начальник штаба береговой обороны подполковник И.Ф. Кобалюк вернулся назад и передал, что погибнет вместе с батареей, военный комиссар 3-й особой авиационной группы ВВС Черноморского флота полковник Б.Е. Михайлов добровольно сошел с последнего самолета и погиб через несколько дней в Херсонесе. Остался в Севастополе командир пограничного отряда НКВД подполковник Г.А. Рубцов. Позднее, чтобы избежать плена, он застрелился.

Трагическая история предательства Приморской армии, открывшаяся через много лет, потрясла меня, и я написал такие стихи:

Крымское небо янтарное,
Контур далеких гор.
Реквием брошенной армии
Петь начинает хор.
Дымная нитка тянется
От неземных миров,
К вам, адмирал Октябрьский,
К вам, генерал Петров.
Позарастили травами
Белые костяки
Там, где лежат державою
Брошенные полки.
Позарастили тиной,
Ржавые за года,
На произвол противнику
Брошенные суда.
Белая чайка реет
Над синевою вод.
«Политруки и евреи,
По три шага вперед!»
Долго еще вам стариться
Среди сирот и вдов,
Вам, адмирал Октябрьский,
Вам, генерал Петров.
Смешано звездное крошево
С бездною голубой.
Реквием армии брошенной
Гулкий поет прибой.
Грянет молвою поздней
Правда во все концы,
Будут герои опознаны,
Трусы и подлецы.
Память о вас останется,
Ваш приговор суров:
Ваш, адмирал Октябрьский,
Ваш, генерал Петров.

Несколько лет назад питерский телеканал «100 ТВ» выпустил документальный сериал «Дети блокады» об известных жителях Петербурга, переживших блокаду, в число которых попал и я. Съёмочная группа сначала снимала меня на 7-й линии у ворот моего старого дома, а потом в Музее истории Санкт-Петербурга на Английской набережной Невы, где есть большой отдел, посвященный блокаде. Меня привели в маленькую комнатку, имитирующую блокадную пору: буржуйка, окна, заклеенные крест-накрест бумажными полосками, черная тарелка репродуктора на стенке – и усадили на узкую койку. «Подождите пару минут, – сказали операторы, – мы сейчас принесем камеру и будем вас снимать». С этими словами они вышли. Через две минуты в уши мне неожиданно ударил вой сирены, и из включившегося репродуктора хорошо знакомый, как бы возникший из подкорки моей памяти голос закричал: «Воздушная тревога! Воздушная тревога!» Сердце мое бешено заколотилось. Я съежился, обхватив голову руками. Глаза мои вылезли из орбит, и на них выступили слезы. Оказывается, все это время

операторы снимали меня скрытой камерой, а потом вставили это в фильм. Ну и методы! Почти как у Анджея Вайды в картине «Все на продажу»!

Через пару дней после показа этого фильма по телевидению мне позвонила моя давняя приятельница, литературный критик Ирина Муравьева: «Я хотела поговорить с тобой о блокаде, но я видела по телевизору фильм и не буду тебя тревожить».

Тает в часах песок.
Вся голова в снегу.
Черствого хлеба кусок
Выбросить не могу.
Не понимает внук
Мой полуночный бред.
Шепчут, смеясь, вокруг,
Дескать, свихнулся дед.
Вынь мне из сердца боль,
Мой ленинградский Бог,
Чтобы муку и соль
Не запасал я впрок.
Не угождал беде
В мире, где тишь да гладь,
Веря, что черный день
Может прийти опять.

В 2014 году, в 70-летний юбилей полного снятия блокады Ленинграда, много шума наделал опрос, проведенный телеканалом «Дождь» о том, что, возможно, следовало бы сдать город немцам и тем самым попытаться спасти миллионы оставшихся в нем мирных жителей. Более половины успевших принять участие в этом опросе проголосовало за то, что город следовало сдать. С сожалением должен сказать, что они, а это в основном молодые люди, не виноваты в своей исторической безграмотности. Виноваты мы, старики. Это мы не смогли объяснить следующему поколению, чем грозило бы падение Ленинграда.

Многие до сих пор не знают о планах Гитлера в отношении города, о том, что кормить его население немцы не собирались. Об этом прямым текстом говорится даже в оперативных документах Вермахта: «Относительно города Ленинграда принцип остается прежним: мы не занимаем город и не кормим его население». Ленинград-Санкт-Петербург – располагается в местности со слабо развитым сельским хозяйством, вокруг него не поля пшеницы, а торфоразработки. При этом группа армий «Север» снабжалась по одной-единственной железной дороге, и ее командующий генерал-фельдмаршал фон Лееб считал, что этой магистрали недостаточно для снабжения его собственных войск, не говоря о населении даже уже занятых Вермахтом пригородов Ленинграда. У немцев имелись планы отгородиться от города колючей проволокой и минными полями. Психологические проблемы расстрела голодных толп мирных жителей они планировали решать стрельбой из артиллерийских орудий с дальних дистанций, превращая скопления людей в кровавое месиво. Поэтому сдача или потеря города в результате штурма привела бы к чудовищной по своим масштабам катастрофе – гибели почти всех, кто оказался в Ленинграде на момент начала блокады.

В военном отношении потеря города на Неве имела бы роковые последствия уже для всей страны: уничтожение Балтийского флота, переброска высвободившихся немецких войск на взятие Москвы в решающий момент битвы за столицу, захват железнодорожной линии, идущей на Архангельск и далее вдоль Белого моря к магистрали Петрозаводск – Мурманск. При таком развитии событий Мурманск – в 1941 году единственный пункт, через который шли

военные поставки по ленд-лизу – вряд ли бы смог удержаться, и на Севере разразилась бы еще одна катастрофа.

Безусловно, нельзя было допускать блокаду, и тут мы имеем полное право обсуждать ошибки руководства и лично Сталина. Но это – уже другая история. Сдавать Ленинград нельзя было ни в коем случае!

Помимо чисто военных и исторических аргументов, есть и другие аргументы – нравственные. Мне, как и всем ленинградцам, сама мысль о сдаче нашего родного города врагу представляется чудовищной.

Вспомним блокадные скорбные были,
Небо в разрывах, рябое,
Чехов, что Прагу свою сохранили,
Сдав ее немцам без боя.
Голос сирены, поющей тревожно,
Камни, седые от пыли.
Так бы и мы поступили, возможно,
Если бы чехами были.
Горькой истории грустные вехи,
Шум пискаревской дубравы.
Правы, возможно, разумные чехи —
Мы, вероятно, не правы.
Правы бельгийцы, мне искренне жаль их, —
Брюгге без выстрела брошен.
Правы влюбленные в жизнь парижане,
Дом свой отдавшие бошам.
Мы лишь одни, простофили и дуры,
Питер не выдали немцам.
Не отдавали мы архитектуры
На произвол чужеземцам.
Не оставляли позора в наследство
Детям и внукам любимым,
Твердо усвоив со школьного детства:
Мертвые сраму не имут.
И осознать, вероятно, несложно
Лет через сто или двести:
Все воссоздать из развалин возможно,
Кроме утраченной чести.

Новая Голландия

*Был и я семиклассник зеленый,
И, конечно, в ту пору не знал,
Что ступаю на землю Коломны,
Перейдя через Крюков канал.
Поиграть предлагая в пятнашки,
Возникает из давних времен
Между Мойкой, Фонтанкой и Пряжкой
Затерявшийся этот район.*

*Вдалеке от Ростральной колонны
Он лежит в стороне от дорог.
Был и я обитатель Коломны,
Словно Пушкин когда-то и Блок.
Здесь следил я, как ранняя осень
Гонит желтые листья в моря.
Здесь осталась на Мойке, сто восемь,
Разоренная школа моя.*

*Здесь, гордынею полон безмерной,
Я о славе мечтал перед сном,
В коммуналках сырых на Галерной,
И на Мойке, и на Дровяном.
Здесь влюблялся, темно и случайно,
И женился, бездумно и зря,
Но кружила над крышами чайка,
И гремели в порту якоря.*

*Я ступаю на землю Коломны,
Перейдя через Крюков канал,
И себя ощущаю бездомным
Оттого, что ее потерял.
Там кружит над Голландией Новой
И в далекие манит края,
Прилетая из века иного
Белокрылая чайка моя.*

*Прилетая из века иного
Невозвратная чайка моя.*

Стихи я начал писать случайно. Я в это время учился в седьмом классе 254-й ленинградской школы, расположенной напротив Никольского морского собора в доме на углу проспекта Римского-Корсакова и улицы Глинки, где поворачивали трамвайные рельсы. Школа наша помещалась в старинном здании с высокими потолками и лепными карнизами. На фасаде дома уже при нас водрузили мемориальную доску, извещавшую о том, что именно здесь в гостях у своего друга водевилиста и переводчика Никиты Всеволожского бывал Александр

Сергеевич Пушкин на собраниях литературно-политического кружка «Зеленая лампа». Самое забавное, что в предыдущие годы эта доска висела на соседнем доме, но потом историки, подумав, перевесили ее на нашу школу. Теперь всякий раз, бывая в Питере и проезжая мимо, я ревниво смотрю на знакомый школьный фасад, опасаясь, не перевесили ли эту доску еще куда-нибудь после очередных исторических уточнений, но она пока еще на месте...

Послевоенное время было трудное. Я помню, как на кухне дымили примуса и керосинки, газа тогда еще, конечно, не было, и мне неоднократно приходилось ходить на угол Фонарного переулочка и улицы Декабристов в керосиновую лавку. Денег на новую одежду не хватало, поэтому для меня перешивали что-то из старых отцовских вещей. Так, в конце войны отец отдал мне свое кожаное полупальто, которое получил в Гидрографии и носил несколько лет. Пальто немного подогнали, перешили, и я таскал его в старших классах, очень гордясь своей «кожанкой». В ней я потом ходил и в Горном институте. То же относилось и к другим вещам. Например, были проблемы с кастрюлями. Помню, что очень долго в качестве кастрюль использовались привезенные из эвакуации банки из-под американской свиной тушенки. Только потом мы начали потихоньку обрывать каким-то имуществом.

Заканчивался трудный 47-й год, завершавший для меня пору недолгих мальчишеских увлечений. Марки, которые я начал собирать еще в 44-м, в эвакуации, мне уже изрядно поднадоели. Пробовал в шестом классе начать собирать открытки, но из этого тоже ничего не получилось. Тогда почему-то была пора коллекционирования – все что-нибудь собирали. Отец пытался склонить меня к занятиям фотографией и подарил на день рождения свой старый «Фотокор», снимавший еще не на пленку, а на специальные стеклянные фотопластины. Понячу мне понравилось это занятие. Особенно привлекали меня ритуальное таинство проявления и фиксации негативов и печатания фотоснимков, секреты рецептур проявителей и фиксажа, приготовление соответствующих растворов, напоминающее о средневековых алхимиках. Наконец, таинственная процедура при красном полутемном свете, когда со дна кюветы, из черноты раствора, вдруг проступает человеческое лицо. У нас в школе образовался кружок фотолюбителей. Вел его чрезвычайно бледный и болезненный человек с тихим голосом, одетый в неизменный вытертый пиджак с бахромой на продранных рукавах. Он сказал, что все его занятия надо записывать, как лекции. «Ну-ка, покажи, – сказал как-то отец. И, посмотрев мои записи, произнес: – Это знающий человек. Сразу видно, что специалист высокого класса». Занятия, однако, продолжались недолго. На одно из них пришел директор школы и попросил у нашего учителя документы. На этом все и кончилось. Лишь через несколько лет, уже после смерти Сталина, когда только началась пора реабилитации, вспомнив грустный облик нашего болезненного учителя, я понял, откуда он к нам попал.

Я еще таскался с фотоаппаратом, когда к нам в седьмой «Б» пришел новенький, Володя Михайловский, почти сразу же получивший, уже не помню почему, кличку Бича, – невысокий полный мальчик, тихий, немногословный и очень скромный. Рисовал он прекрасно, хотя смущался, краснел и страшно сердился, когда на это обращали внимание. Жил Володя недалеко от школы, на Малой Подъяческой улице, хордой соединявшей петлю Грибоедовского канала. Как раз по этой улице и далее, через Львиный мостик и улицу Декабристов, пролегал мой каждодневный путь в школу и обратно, в огромный дом на углу Мойки и Фонарного переулочка, где мы тогда жили. Мы с Володей подружились, тем более что оказались попутчиками. И как-то раз он зазвал меня к себе домой, показал свои рисунки карандашом и акварелями, которые мне сразу понравились. Володя был удивительно одаренным рисовальщиком, быстро и точно изображавшим на бумаге окружающий мир с поразительным, как мне казалось, сходством. Глядя на то, как он рисует, можно было подумать, что дело это простое и доступное для каждого. Поэтому я тоже попытался рисовать, но из этого, конечно, ничего не получалось, хотя Володя, по доброте своей, усердно мне помогал.

В связи с этим не могу не вспомнить весьма забавный случай. Зимой 2011 года на площади Островского в моем родном Питере, перед Александринским театром, на специально сооруженной сцене происходила организованная каким-то фондом благотворительная акция: известные персоны, писатели, артисты, общественные деятели прямо на сцене на глазах зрителей рисовали картины маслом. После этого картины продавались на специальном аукционе, а собранные деньги поступали на поддержку детских медицинских учреждений. В число приглашенных для рисования почему-то попал и я. На сцене, несмотря на изрядный мороз, я попытался изобразить по памяти вид из нашего окна в доме на Мойке. К моему великому изумлению, моя мазня была продана на аукционе за двадцать тысяч евро.

Теперь уже не помню, кто именно посоветовал нам в том далеком 1947 году пойти в художественный кружок при Ленинградском Дворце пионеров, располагавшемся в Аничковом дворце на углу Фонтанки и Невского. Володя, которому не хотелось записываться в кружок одному, уговорил и меня. Мы отобрали с ним несколько рисунков и отправились на Фонтанку. Отдел художественного творчества Дворца пионеров помещался в длинном двухэтажном флигеле, вытянутом вдоль Невского перпендикулярно фасаду главного здания дворца. Мы долго ходили по коридорам второго этажа в поисках «художественной студии», с робостью прислушиваясь к звукам разного рода музыкальных инструментов, раздававшимся из-за дверей. В конце коридора рядом с вокальным классом, где какой-то высокий женский голос выпевал гаммы, мы увидели наконец надпись «Студия рисования», но двери оказались закрытыми. Выяснилось, что сегодня среда, а занятия бывают только по вторникам и четвергам.

Обескураженные, мы повернули обратно, и, когда уже дошли до конца коридора, я увидел приоткрытую дверь, за которой звучали стихи. Я подошел поближе и прислушался. Это были очень красивые и совершенно мне неизвестные стихи, как потом выяснилось – Франсуа Вийона. Читал их негромким глуховатым голосом невысокий, стройный и курчавый черноволосый мужчина в толстых роговых очках и темной гимнастерке без погон, перехваченной в талии широким офицерским ремнем (им оказался Ефим Григорьевич Эткинд). На столе перед ним лежала толстая открытая офицерская кожаная полевая сумка, набитая книгами. На стульях перед столом, спиной к дверям и ко мне, сидели несколько ребят и девушек, примерно на класс или на два постарше, чем я. «Ну, чего ты застрял, пойдем!» – окликнул меня Бича. «Иди, я еще побуду», – неожиданно для себя ответил я ему и, тихо открыв дверь, надпись на которой так прочесть и не успел, вошел в комнату и, стараясь не шуметь, сел на крайний стул. Никто из присутствующих не обратил на меня никакого внимания – все были заняты слушанием стихов. Так в феврале 1947 года началось мое увлечение стихами, затянувшееся на долгие годы.

Что же до Володи Михайловского, которому я обязан своим приходом во Дворец пионеров, то с ним мы встретились после многих десятилетий в 1998 году в Питере на моем вечере в Концертном зале у Финляндского вокзала. Он действительно стал художником. Его батальные полотна морских сражений украшают залы Военно-морского музея и кают-компаний многих судов.

Для приема в «Студию литературного творчества» (вот что было написано на дверях) необходимо было представить один собственноручно написанный рассказ или три стихотворения. У меня к тому времени уже было в запасе одно стихотворение, посвященное умирающему гладиатору и подозрительно смахивающее на лермонтовское. Помучившись неделю, я, не ожидавший от себя такой прыти, написал еще одно стихотворение, про татаро-монгольское нашествие (я в те поры страшно увлекался книгами Василия Яна «Батый» и «Чингисхан»). Там были такие, чрезвычайно почему-то тогда понравившиеся мне строчки:

Монголы, монголы, монголы идут,
И стонет земля под тяжелым копытом,
И рвется тревожный набатный гуд:

Монголы, монголы, монголы идут...

Ободренный таким неожиданным успехом, я настряпал еще одно, примерно такого же качества, стихотворение про Древний Рим. Так что можно сказать, что стихи на историческую тему я начал писать с самого начала.

Меня, хотя и со скрипом, приняли – правда, не в ту, как оказалось, старшую группу, куда я случайно забрел, а в младшую, состоящую из семи- и восьмиклассников. Это, однако, роли не играло, так как на занятиях можно было сидеть как в той, так и в другой группе. Младшей руководил тогда ленинградский поэт Леонид Иванович Хаустов, человек маленького роста, с всклокоченными черными волосами и такими же угольными зрачками. Одет он был неизменно в коричневый костюм и темную рубашку с галстуком, ходил быстрой походкой, был темпераментен и эмоционален.

Старшую группу вел поэт Глеб Сергеевич Семенов, очень худой, небольшого роста, всегда державшийся с подчеркнутой прямоотой и казавшийся сутуловатым. Волосы его в противоположность Хаустову были прямыми и всегда гладко зачесанными. Ходил он неторопливыми длинными шагами на как бы негнущихся ногах. Пиджак строгого темного цвета висел на его плечах так же прямо. Строгость его внешнего облика подчеркивалась всегда аккуратно завязанным галстуком и негромким глуховатым голосом. Занятия по «теории литературы» (да-да, тогда именно так это называлось) вел уже увиденный и услышанный мною доцент Ленинградского пединститута имени Герцена Ефим Григорьевич Эткинд, в недавнем прошлом военный переводчик...

Так начались мои занятия во Дворце пионеров. Проходили они два раза в неделю – по средам и пятницам. Один день – «теория литературы», другой – практические занятия. Теория состояла в знакомстве с элементами стихосложения, рифмами, ритмами и так далее, а также с историей русской и мировой поэзии, которую нам, старшеклассникам, как я понял гораздо позднее, Эткинд читал на вузовском уровне. Говорил он так интересно и увлеченно, что мы и понятия не имели, что это за программа. Зато своему первооткрытию звучащей сокровищницы российской поэзии – от «Слова», Кантемира и Державина до Блока и запретной тогда Цветаевой, открытию трагических судеб Данте и Петрарки и не искаженных переводами стихов Джона Донна, Шекспира и Франсуа Вийона – я обязан именно ему.

Ефим Григорьевич Эткинд, ныне известный во всем мире как переводчик, писатель, литературовед и критик, был человеком удивительных талантов и не менее удивительной работоспособности. Он не только был переводчиком, прекрасно владевшим европейскими языками – в первую очередь английским и французским, – но и глубоким знатоком русского языка и русской поэзии. Он, по существу, заложил основы науки перевода европейских поэтов на русский язык. Им составлено собрание лучших поэтических переводов в России, вошедшее в состав «Библиотеки поэта». Так же тщательно изучил он и русскую эпиграмму за последние три века. Будучи далеким от политики, он тем не менее не остался в стороне во время позорного процесса над Иосифом Бродским и вместе с Фридой Абрамовной Вигдоровой решительно встал на защиту арестованного поэта. Выступления на процессе Бродского, а также помощь опальному Солженицыну (Эткинд прятал у себя часть его архива, в том числе один из машинописных экземпляров «Архипелага ГУЛАГ») в 1974 году привели к увольнению Эткинда из Педагогического института имени Герцена, где он проработал много лет, и его публичной травле. Лишенный возможности работать, он вынужден был эмигрировать.

В эмиграции Ефим Григорьевич в течение ряда лет с успехом читал лекции в Сорбонне и университетах Германии. В Париже он на русском языке опубликовал свой фундаментальный труд «Анатомия стиха», стал одним из основных редакторов и составителей многотомной «Истории русской литературы» вместе с И.З. Серманом, Ж. Нива и В. Страда. Он подготовил множество изданий классиков русской поэзии от Пушкина до Цветаевой на немецком и

французском языке. Активно участвовал вместе с С. Маркишем в издании романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» и других книг «тамиздата». В сложной конфликтной обстановке парижской эмиграции с постоянными междоусобицами среди отдельных издательских и литературных групп Эткинд, так же как и Виктор Некрасов, приложил немало усилий для нормализации литературной жизни. Его энергии хватало, кажется, на все. Он ухитрялся ездить с лекциями в Америку, планировать издание «Энциклопедии советской цивилизации», писать многочисленные статьи, выступать с обширными докладами на конференциях и писать книги.

В конце жизни он неоднократно приезжал в Россию. Я встретился с ним последний раз в мае 1999 года в Питере, куда он приехал в связи с пушкинским юбилеем. Он был у меня на авторском вечере в Концертном зале у Финляндского вокзала, а на следующее утро я приехал к нему домой в маленькую квартирку в доме неподалеку от площади Мужества. Мы просидели и проговорили весь день до темноты. Через много лет он заставил меня перейти с ним на «ты». Это оказалось менее сложно, чем я предполагал: в свои восемьдесят он казался значительно моложе – та же живость ума, мальчишеская любознательность, азарт в полемике и полное отсутствие занудства и стремления вещать, нередко свойственного классикам ушедшего фронтового поколения. Опасаясь за его здоровье, я по пути к нему деликатно взял небольшую флягу коньяка, и немедленно пришлось бежать за второй.

Говорили о многом: о Глебе Семенове, об Иосифе Бродском, о Льве Копелеве, с которым Эткинда связывала многолетняя дружба, об авторской песне, о поэзии в Питере, о тревогах и надеждах нынешнего дня. Прощаясь, он подарил мне свою «Анатомию поэзии». Кто мог предполагать, что встреча эта окажется последней? Через полгода после этого у него внезапно обнаружили рак, и вскоре его не стало. И когда я слушал его глуховатый голос, я снова вспоминал молодого курчавого красавца в офицерской гимнастерке, вдохновенно читавшего стихи Вийона и открывшего мне когда-то океан мировой поэзии.

«Практика», которую сначала я проходил у Хаустова, а потом у Семенова, заключалась в чтении и разборе стихов. Процесс этот имел строгий, раз и навсегда заведенный порядок. За неделю до обсуждения стихи передавались автором двум специально назначенным «оппонентам», которые внимательно читали их дома и готовили подробный критический разбор. На занятии сначала читал стихи автор. При этом строжайшим образом соблюдалась полная тишина. Категорически запрещалось разговаривать, перешептываться или шумно перемещаться. Это строгое правило оцениваешь вполне, когда сам читаешь стихи. После с подробными «докладами» выступали оппоненты. Затем слово предоставлялось всем желающим. Мнения можно было высказывать любые, но их обязательно полагалось аргументировать. «Нравится? Почему? Объясни, пожалуйста». «Не нравится? Опять же почему?» Резюме обычно подводил руководитель. Обсуждаемому часто приходилось туго, так как мнения высказывались самые резкие, но все люди были пишущие, каждый знал, что наступит и его черед, и обстановка, в общем, была доброжелательная. Много лет спустя, когда мне самому довелось вести литературные объединения, я всегда использовал эту старую, полюбившуюся мне во Дворце пионеров схему.

«Практика», однако, не ограничивалась только разбором собственных стихов. Регулярно устраивались литературные игры:

цепные стихи, буриме, акrostих, стихи заданным размером на заданную тему и так далее. Глеб Сергеевич сказал тогда одну запомнившуюся мне на долгие годы фразу: «Я, конечно, не могу научить вас писать стихи – это только Господь Бог может. Но если я сумею научить вас отличать плохие стихи от хороших, будем считать, что мы с вами не зря тратили время». С тех пор прошло более сорока лет, но эти слова я запомнил отлично. Действительно, сколько порой одаренных поэтов страдают отсутствием вкуса – опасной болезнью, становящейся с возрастом неизлечимой, как и другие детские болезни, угрожающие взрослым! А ведь если научиться

отличать плохие стихи от хороших, то сможешь и своим стихам, которые каждому автору кажутся замечательными, дать трезвую и правильную оценку, пусть даже самую горькую!

И Глеб Семенов, как мог, воспитывал в нас вкус. А мог он многое. Человек с прекрасной памятью, родом из старой интеллигентской семьи (приемная мать, Елена Георгиевна, была когда-то актрисой, а приемный отец – известный писатель Сергей Семенов), он обладал тонким и безошибочным литературным вкусом. Прежде всего он читал нам наизусть множество стихов авторов, о которых мы, тогдашние жертвы полуобразованщины и усеченных школьных программ сталинской эпохи соцреализма, попросту ничего не знали. Только спустя много лет я понял, как рисковал Семенов, называя нам многие запретные тогда имена и читая стихи, в ту пору не печатавшиеся. Помню, как-то году в пятидесятом он прочел нам на занятии строчки неизвестного (так он сказал) автора, которые я запомнил с первого раза наизусть:

В глубокой выработке, в шахте,
Горю с остатками угля.
Здесь смертный дух, здесь смертью пахнет,
И осыпается земля.

Последние истлеют крепки,
И рухнет небо мертвеца,
И, превращаясь в пыль и пепел,
Я домечтаю до конца.

Я лишь на миг тебя моложе,
Пока еще могу дышать:
Моя шагреневая кожа,
Моя усталая душа.

«Чи это стихи?» – спросил кто-то из нас. Глеб Сергеевич по своей привычке многозначительно поднял брови и ничего не ответил. Только несколько лет назад, прочтя подборку в одном из толстых журналов, я узнал, что автор этих «безымянных» полюбившихся мне стихов был Варлам Шаламов, сидевший в то время в колымских лагерях. Как стихи эти добрались до Глеба Сергеевича в то время? Понимал ли он, что играет с огнем, – ведь вход на занятия был практически открытый? Видимо, понимал, но миссионерский свой долг понимал еще лучше. Именно он, помнится, дал мне впервые прочитать стихи прекрасного поэта Николая Тарусского, стихи Николая Заболоцкого и многих других поэтов, тогда запрещенных или полужаппененных.

Могу сказать без преувеличений, что в восьмом и девятом классах на занятиях литературной студии именно Глеб Сергеевич Семенов сформировал мое (и не только мое) поэтическое мировоззрение. От него и от Эткинда услышали мы впервые имена и стихи, сложившие основы стройного и огромного здания мировой поэзии – от Тредиаковского до обэриутов, от терцин «Божественной комедии» и песен вагантов до мужественной «Мэри Глостер» и «Баллады о трех котиколовах». Это было подлинным открытием, переполнявшим и тяготившим наши нищие до того мальчишеские сердца своим неожиданным величием.

После занятий мы упорно не хотели расходиться, обычно долго бродили по вечернему шумному Невскому или по тихой и безлюдной Фонтанке, беспрестанно читая стихи или разговаривая о них. Жизнь наша, до того бессмысленная, обрела главный смысл. И дело было, конечно, не в скромных наших способностях и не в уровне собственных злополучных стихов. Мы все обрели истинную веру, причастились великого таинства мира звуков и смысла их единственной гармонии и не могли уже жить как прежде.

Давид Самойлов сказал как-то, что графоман отличается от истинного поэта только тем, что его вдохновение не дает результатов на бумаге. Возможно, мы и были такими графоманами. Дело, однако, не в результатах, а в том странном состоянии постоянного праздника посреди скудной нашей жизни. Может быть, именно тогда в наши незрелые души, уже изрядно отравленные «воспитанием под барабан» в пионерии и комсомолии, лег первый камень альтернативной основы существования, появилось первое сомнение в безусловной правоте примитивного нашего атеизма. У братьев Стругацких в фантастической повести «Попытка к бегству» на обитаемой планете, куда попадает космический корабль, господствует авторитарный режим и людей приговаривают к смерти за следующий состав преступления: «Хотят странного». Стараясь научить нас «отличать плохие стихи от хороших», Глеб Сергеевич впервые привил нам это желание – «хотеть странного». Французская пословица утверждает, что человека отличает от животного «стремление ко лжи и к искусству». Не знаю как по части лжи, а уж по части искусства Глеб Семенов, возможно, и сам не сознавая ответственности своего деяния, выступил почти в роли Господа Бога, отделив нас от животного мира. И это его огромная заслуга перед непорочностью и весомостью слова. Заслуга, благодаря которой мы были обращены в религию творчества. Не все, безусловно, стали литераторами – многие бросили потом писать. Но прочные основы нравственного и эстетического воспитания были заложены в них так же, как и в тех, кто связал свою судьбу с литературой. Они уже навсегда вырвались из мира обывательских материальных «ценностей»...

Именно Глебу Семенову принадлежит заслуга превращения в интеллигентов целого поколения пишущей ленинградской молодежи. Он отдал этому делу практически всю свою недолгую жизнь. Много лет руководил студией во Дворце пионеров. Потом, когда я учился в Ленинградском горном институте, мы пригласили его вести студию там. По окончании Горного все участники «горняцкого» объединения не могли и не хотели расставаться с Семеновым и долгие годы ходили на его занятия во Дворец культуры имени Первой пятилетки, где он потом вел студию литературного творчества. Забегая вперед, могу сказать, что из «Глебгвардии Семеновского полка» (так мы себя в те поры величали) вышло немало литераторов, внесших заметный вклад в литературу последующих лет. Среди них – писатели Андрей Битов, Яков Гордин, Борис Никольский, поэты Александр Кушнер, Леонид Агеев, Глеб Горбовский, Владимир Британишский, Олег Тарутин, Нонна Слепакова, Нина Королева и многие другие.

С тех пор прошло много лет, но когда я в журналах или поэтических книжках встречаю вдруг новые хорошие, ранее неизвестные мне стихи, то, читая их, снова слышу глуховатый и негромкий голос Глеба Семенова.

Нам всем, дворцовым студийцам, было от пятнадцати до семнадцати лет, и Глеб Семенов казался тогда безнадежно старым и взрослым человеком, а ведь ему не было еще и тридцати. Поэтическая судьба его сложилась трудно. Первая книга стихов «Свет в окнах», вышедшая в 1947 году, была неудачной. Последующие сборники, очень редкие, тоже были разными по своему уровню. Лучшие стихи оказались доступны для широкой публикации только после его смерти (он умер в январе 1982 года от рака легких). Был он крайне требователен к себе и всю жизнь мучился из-за хронической невозможности опубликовать то, что хочет. В годы войны его не взяли в армию из-за слабых легких, и это тоже мучило его, что нашло отражение в его стихах. Существовал он более чем скромно тем, что частично переводил, а по большей части работал при Союзе писателей в качестве литконсультанта и вел литературные объединения. Не знаю, что было бы, если бы его творческая судьба сложилась более удачно, но думаю, что в этом случае того уникального (на более чем два десятилетия – в самые черные годы) педагогического семеновского феномена могло бы и не быть...

Но вернемся в 1948 год. В нашем кружке (мы не любили это слово и всегда говорили «студия») были свои лидеры – первые поэты, писатели и критики. Старшую группу одно время посещал Василий Аксенов, поступивший после школы учиться в Первый медицинский инсти-

тут. Там же занимались ушедший из жизни несколько лет назад многолетний главный редактор журнала «Нева» Борис Никольский, Владимир Торопыгин – главный редактор журнала «Аврора», безвременно умерший от рака в 1980 году Игорь Масленников, ставший потом известным кинорежиссером. До сих пор помню его стихи, тогда чрезвычайно мне понравившиеся:

Луч солнца сух и высок,
Сух и высок веками.
Песок, камень, камень, песок,
Камень, песок, камень.
И солнце целит дулом в висок,
Верблюды шевелит боками.
Песок, камень, камень, песок,
Камень, песок, камень.
Пальмы стоят, стоят с руками,
Лужа прохладной грязи.
Камень, песок, песок, камень.
Камень, песок – оазис.

Часто рядом со мной за столом оказывался очень серьезный и худой старшеклассник с иконописным лицом, который оказался моим ровесником, но я почему-то считал его старше, может быть, из-за неприступного вида, а может быть, потому, что его первого, несмотря на возраст, перевели в старшую группу. Это был Володя Британишский, с которым мы впоследствии учились на одном курсе в Горном институте. Помнится, нам как-то предложили показать свои стихи ленинградскому поэту Петру Ойфе, работавшему тогда в газете для пионеров «Ленинские искры». Прочтя рукописные тексты, он заявил: «У всех стихи плохие, потому что написаны они плохим почерком, трудно читать. А вот у Британишского стихи хорошие, потому что он пишет печатными буквами, и их читать легко». Стихи у Володи действительно были хорошими. Меня они тогда поражали глубиной и серьезностью тематики.

Да, жил и минерал, он был расплавом, газом,
Он магмой бешеной кипел в груди земной,
Но времена прошли, стал минерал алмазом,
И вот он на стекле лежит передо мной.

«Вот поистине «геологические» стихи, – думал я, – но какие глубокие и точные!»

В старшей группе выделялся своими стихами Лев Куклин, также ставший потом профессиональным поэтом. Но истинным лидером среди поэтов в ту пору был Феликс Нафтульев, которому все прочили большое поэтическое будущее. Был он на два года старше меня, стихи писал легко и много и очень, по тогдашним нашим представлениям, мастеровито. Здесь надо оговориться, что уровень поэтического мастерства в студии был сравнительно невысок. Несмотря на призывы наших руководителей, за редким исключением все писали привычными ямбами. В последние годы мне часто приходится слышать и читать стихи начинающих поэтов, и я с честной завистью вижу, насколько они «мастеровитее» нашего поколения. Возможно, на этой «ямбической скованности» отразилась наша несчастная эпоха конца 40-х годов, когда любая «формалистическая» поэзия казалась непозволительной экзотикой.

Феликс Нафтульев писал быстро и эмоционально, мог написать стихи буквально на любую тему. Мне более всего запомнились тогда его поэмы «Небо зовет» и «Индийская гробница» (все тогда увлекались этим фильмом). Стихи Феликса были лаконичными и динамич-

ными, из них всегда была отжата «вода», которую лили все остальные. Помню его стихотворение «Стратонавты», посвященное памяти погибших в 30-е годы стратонавтов Васенко, Федосеенко и Усыскина.

Мне надо знать, как это было,
Как трудно долог был подъем,
Как оболочка тихо стыла
И покрывалась синим льдом.
Гондола дрогнула от ветра,
И вдруг в лиловой полумгле
Сорвалась стрелка альтиметра
И закружила по шкале.
Мне надо знать, как пела стенка,
И в страшном небе штормовом
Дюралевые швы Васенко
Рубил наотмашь топором.
Мне надо знать, как тьма редела,
Как стрелки прыгали, шая,
Как нарастающе гудела
В иллюминаторах земля.
Как разом, отзвенев нелепо,
Вслепую, в чернозем, в века...
Мне надо знать, как страшно небо,
Чтоб победить наверняка!

Нафтульеву я (да и, видимо, не я один) завидовал. Еще бы – такие стихи! На отчетных вечерах Дворца пионеров он всегда читал стихи последним, и в отличие почти от всех других его неизменно награждали долгими аплодисментами. По окончании школы Феликс окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, стал неплохим редактором и журналистом с детским уклоном, но со стихотворными публикациями завязал. Более тридцати лет трудился в документальном кинематографе, где стал «широко известен в узких кругах», помог Юрию Сенкевичу написать книжки про его экспедиции вместе с Туром Хейердалом на «Ра» и «Тигресе». Он умер в самом начале 2001 года, перевалив рубеж тысячелетий.

Другим «неформальным» поэтическим лидером очень недолгое время был таинственный человек Олег Ширма, парень шестнадцати лет, которого привел в кружок его одноклассник поэт Виктор Берлин, закончивший впоследствии Политехнический институт. Олег неожиданно появился у нас и почти так же внезапно исчез. У меня с ним сразу же осложнились отношения, так как ему понравилась волоокая, с темной косой и длинными черными ресницами Лена Иоффе, за которой я тогда ухаживал, и он после первого же занятия с прямоотой римлянина стал угрожать мне финкой, чтобы я не ходил ее провожать. Вместе с тем он сразу же потряс всех, и прежде всего, кажется, Глеба Сергеевича, поэмой, которую нам прочел. Это была поэма о Сталинградской битве, написанная вполне профессионально и явно человеком воевавшим. Поэма настолько отличалась от наших ученических писаний, что сразу же возникло подозрение, подлинно ли Олег Ширма ее автор. До сих пор помню такие строчки из нее:

Бледнеют голубые ромбы
Скрестившихся прожекторов,
И первый взрыв немецкой бомбы

Гремит у бронекатеров.
Пробиты бомбой бензобаки,
И нефть пылает на песке,
И грохот танковой атаки
Подкатывается к реке.

Поэма казалась написанной зрелым, настоящим поэтом. А вот другие стихи у Олега как-то не получались. Он походил к нам что-то около месяца, потом пришел на занятие с «маленькой», демонстративно выпил ее из горла без закуски, вызвав этим у присутствующих почти такое же потрясение, как прежде чтением поэмы, и исчез. Секрет этой таинственной поэмы так и остался для меня неразрешимым.

Помню, что в восьмом классе, в 1948 году, будучи тогда ретивым комсомольцем, я написал весьма посредственное, но «политически грамотное» стихотворение «Венок красных маков», в котором обличал «поджигателя войны» Уинстона Черчилля (так мы тогда совершенно искренне считали). Стихи эти, по рекомендации Семенова, я прочел на одном из отчетных вечеров и был удостоен первого в своей жизни упоминания в печатной прессе. И не где-нибудь, а в главной газете – «Ленинградской правде»! Статью об отчетном вечере студии литературного творчества опубликовал известный в те поры ленинградский поэт Всеволод Азаров, которому стихи мои вдруг понравились, и он написал: «Молодой поэт нашел гневные слова для разоблачения...» и так далее. Дурацкому моему тщеславному счастью не было предела. Пару раз после этого, в том же 49-м, пару стихов, тоже довольно скверных, напечатала газета «Ленинские искры». Это были мои первые печатные публикации.

Уже сейчас, работая над автобиографическим фильмом «Атланты держат небо...», в музее бывшего Дворца пионеров в старой газете «Ленинские искры» я прочитал свои стишки, посвященные сорокалетию комсомола, и пришел в ужас. К сожалению, «отличать плохие стихи от хороших» я в ту пору еще не научился, поскольку совершенно не хотел понимать безнадёжно низкого литературного уровня моих поэтических опытов.

Справедливости ради следует сказать, что Глеб Сергеевич Семенов, бывший для меня в те годы высшим авторитетом, довольно трезво и невысоко оценивал мои поэтические способности. Беседуя как-то со мной об упомянутом выше Олеге Ширме, он сказал: «Понимаешь, про тебя я знаю, что ты можешь, а что нет, а вот он – человек неожиданный». Много лет спустя, уже в конце 50-х годов, в каком-то поэтическом застолье он же, приводя уже не помню чьи остроумные изречения, заявил, обратившись ко мне: «А вот есть цитата про тебя: «Если хочешь быть талантливым, стань лауреатом». Слова эти я припомнил уже в 1999 году, когда действительно стал лауреатом Государственной премии имени Булата Окуджавы. Возможно, самым разумным в моем положении было бы бросить писать стихи раз и навсегда, но я уже был отравлен сладким ядом обманчивого сознания причастности к литературе и сил честно бросить это неблагодарное для меня занятие в себе не находил. Так, видимо, лишенный актерского таланта юноша готов быть статистом в массовке, осветителем, рабочим сцены – лишь бы дышать пыльным воздухом подмостков, пропитанным едкими запахами нафталина и олифы.

В то время все вокруг постоянно твердили нам, что надо «приобретать жизненный опыт», зарабатывать себе рабочую биографию, изучать жизнь не по книжкам. И только Глеб Сергеевич не устал повторять нам, что поэзия, так же как и наука, требует от человека глубоких профессиональных знаний и мастерства; что, не зная мировой поэзии, и прежде всего отечественной, нельзя создать ничего нового. Что люди, презирующие культуру, пишущие «пупом», никогда не смогут обогатить литературу. «Рецепт один – читайте, читайте и читайте», – повторял он.

Выступали мы тогда со стихами довольно редко, как правило, на отчетных вечерах студии в концертном зале старинного Аничкова дворца, куда разрешалось приглашать родственников

и знакомых. Потом, в девятом и десятом классах, мы выступали на вечерах Дворца в зале Ленинградской филармонии и в Эрмитажном театре.

Помню, на выступлении в Эрмитажном театре я читал свои (весьма, кстати, посредственные) стихи о португальском мореплавателе Васко да Гама, поскольку увлекался тогда географическими открытиями. Об этом через много лет неожиданно вспомнил в своих стихах Владимир Британишский:

...И он к нам, в кружок наш, в Аничков дворец,
Пришел. Что прочтет горбоносый птенец?
Какими сразит нас стихами?
А он нам – о Васко да Гаме.
И в восемьдесят – не соврать бы – восьмом,
В Москве прихожу в цедеэловский дом,
И публика в зале, набитом битком,
И он обозначен в программе.
О чем же прочтет он лет сорок спустя?
А век наш летит и грохочет, свистя,
Ведь сверхзвуковые теперь скорости —
Попробуй поспеть за голами!
А он нам – о Васко да Гаме...

Жили мы тогда с родителями в упомянутой выше большой коммунальной квартире на пятом этаже огромного дома на углу Мойки и Фонарного переулка. Во дворе этого гигантского дома с проходными дворами, заставленными дровяными сараюшками, помещались старые петербургские бани. Существует версия, что именно из-за этих, построенных еще в XVIII веке бань река Мойка и получила свое историческое название. В числе прочих жильцов нашей квартиры (которую раньше занимал повар Мариинского театра), вытянутой подобно кишке вдоль длинного коридора, ведущего на кухню, был член Союза писателей Николай Афанасьевич Сотников. Кто он был, критик или киносценарист, я так и не понял. Он с его, к тому же времени бывшей, женой и сыном Сергеем, одноклассником Феликса Нафтульева, занимали три крохотные комнатки в конце коридора, возле кухни. Ксения Николаевна, так звали его жену, постоянно подрабатывала машинописью, и в квартире у нас время от времени появлялись ее клиенты и приятели, среди которых мне запомнился Виктор Некрасов, тогда еще молодой автор только что опубликованного романа «В окопах Сталинграда».

Сам Николай Афанасьевич, грузный обрюзгший человек неопределенных лет в неизменных роговых очках, в квартире появлялся редко. В постоянно пустовавшей комнате его была неплохая библиотека из старых книг, кое-что из которых его сын Сережа давал мне читать. На старом расшатанном столике в передней, напротив входных дверей, где стоял телефонный аппарат (тогда еще не автоматический с наборным диском, а с кнопками «А» и «Б»), вместе с письмами квартирным обитателям регулярно появлялись календарики мероприятий в Доме писателей, Доме кино и различного рода пригласительные билеты, в пору отсутствия Сотникова лежавшие здесь подолгу. Я смотрел на них с завистью к этому таинственному человеку, который каждый день, оказывается, мог ходить то на концерт, то на просмотр и обсуждение кинофильма, то на какую-нибудь интереснейшую лекцию. Вот что значит быть настоящим писателем! Да я бы на его месте только и делал, что ходил все время то в Дом писателя, то в Дом кино – не жизнь, а сплошной праздник, да еще и постоянно среди всяких знаменитостей!

С другой стороны, такой образ жизни отпугивал меня своим, как мне представлялось тогда, праздным бездельем. Я понятия не имел о черном и каторжном писательском каждодневном труде, заменяя его в своем воображении редкими приятными взлетами творческого

вдохновения. Да и родители мои, с утра до ночи пропадавшие на работе, усердно приучали меня к тому, что каждый мужчина должен иметь «серьезную» специальность и трудиться, как и все, на производстве. Под словом «серьезная» понималась – техническая. Всякое искусство в нашей «технарской» семье воспринималось в основном как развлечение и отдых после работы, которая, неважно какая, но обязательно каждодневная, и являлась главной целью в жизни. Поэтому делать искусство своей специальностью я тогда не собирался. В то же время, хотя я и старался быть отличником, математика и физика давались мне с трудом, а больше всего я любил литературу и историю, явно обнаруживая, к неудовольствию матери, гуманитарный уклон.

Весной 1947 года я окончил седьмой класс 254-й школы, а поскольку она была семилеткой, то я перевелся в восьмой класс в другую школу, расположенную в Коломне. Такое название получил исторический район старого Петербурга за Крюковым каналом – треугольник между Невой, Мойкой и Фонтанкой. Здесь когда-то жили молодой Пушкин, Евгений – герой его «Медного всадника», Гоголь, Иннокентий Анненский, Блок, Мусоргский, Репин, Глинка и многие другие. В связи с эвакуацией мне пришлось сменить несколько школ, но из всех мне более всего запомнилась именно эта – 236-я школа на Мойке, 108. Находилась она напротив главных ворот петровской Новой Голландии, где в начале XVIII века строили галеры, которые сыграли решающую роль в победоносных сражениях молодого русского флота со шведами при Гангуте и Гренгаме. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, то испытываю острое чувство ностальгии по временам моей юности. Когда я думаю о том, что такое Родина, не «малая родина», а единственная, потому что Родина малой быть не может, то вспоминаю Васильевский остров и Новую Голландию – район старой питерской Коломны. Вообще, каким-то непостижимым образом моя жизнь переплелась с жизнью этого великого города.

Тот город, где легендой стали были,
Как белым снегом черные дожди,
Который императоры любили
И страстно ненавидели вожди.
Тот город, что не встанет на колени,
Предпочитая умереть в бою.
В Москву не зря бежал отсюда Ленин,
Спасая жизнь недолгую свою.
Корабликом на шпиле этот город
Одолевает бурные года.
Его не задушил блокадный холод,
Не затопила невяская вода.
Мне – семьдесят, ему сегодня – триста,
Он так же юн, а я – уже старик.
Но, как мальчишка, выхожу на пристань,
Услышав чаек сумеречный крик.
И мне сулит немереное счастье
Немереной гордыни торжество,
Что сделаться и я могу причастным
К суровому бессмертию его.
И, до конца отжив свой век короткий,
Уже не слыша пушку над Невой,
Стать завитком литой его решетки
И камнем безымянной мостовой.

В последних классах школы мне больше нравились гуманитарные предметы, чем точные. Исключение, пожалуй, составляла биология, где со стен биологического кабинета на нас хмуро взирали с портретов Трофим Лысенко, Исаак Презент и еще какие-то мрачные личности. Физику у нас в восьмом классе преподавала некая Мария Леонтьевна, женщина средних лет, грузная и косноязычная, с тяжелым неподвижным взглядом бесцветных глаз, от которой за версту веяло холодом и полным равнодушием к своему предмету. Я боялся ее гипнотического взгляда, как кролик боится взгляда кобры. В десятом классе ее сменил высокий, узкоплечий и худой Владимир Александрович со впалыми щеками многолетнего курильщика и цепкими презрительными глазами, щеголявший во флотском офицерском кителе и заявивший как-то моему однокласснику Леве Лозовскому, отличавшемуся вопиющей еврейской внешностью: «Зря стараешься. Таким, как ты, я все равно больше тройки никогда ставить не буду, чтобы вы в вузы потом не лезли». Может быть, поэтому никакой привязанности к физике я не испытывал в то время.

Да, еще нелады у меня были с физкультурой. Я был худосочный послеблокадный мальчик, в эвакуации болел и всегда, как орудий пытки, пугался всяких спортивных снарядов. У нас был замечательный физкультурник, Георгий Владимирович Старов, в прошлом заслуженный мастер спорта, который воспитал не одно поколение спортсменов. Со мной ему явно не везло.

Для меня мучением когда-то
Физкультура школьная была.
Я кидал недалеко гранату,
Прыгать не умел через «козла».
Я боялся, постоянно труся,
В зале физкультурном не жилец,
Шведской стенки, параллельных брусьев,
К потолку подвешенных колец.
Это после, полюбив дорогу,
Обогнул я Землю раза три,
Прыгал с кулюмбинского порога
С пьяными бичами на пари.
Штурмовал обрывы на Памире,
Жил среди дрейфующего льда.
Но опять, как дважды два – четыре,
Помню эти школьные года,
Где, не в силах побороть боязни
Ног моих предательских и рук,
Подвергался я гражданской казни,
Всеми презираемый вокруг.
И в пустой укрывшись раздевалке,
В щели между шкафом и стеной,
Всхлипывал, беспомощный и жалкий,
Проигравший бой очередной.

Математику же преподавал замечательный человек Александр Павлович Григал, прекрасно знавший свой предмет, но грозный и строгий. В нашем девятом «Б» учился высокий крепыш по фамилии Синица, носивший на своей широкой груди множество спортивных значков. (Уже в девятом классе он занимался в юношеской спортивной школе и был разрядником по нескольким видам спорта.) С математикой он систематически был не в ладах. Каждый раз, когда Григал громовым своим голосом зачитывал оценки за очередную контрольную, он начи-

нал с отличников: «Камский – пять, Темкин – пять, Капинос – пять...» Потом шли четверки, тройки и двойки. Заканчивал же он всегда в рифму: «Синица – единица!» Меня он тоже не особенно жаловал, так что выше четверки я у него обычно не поднимался.

Совсем другое дело – литература и история. Литературу в восьмом и девятом вела худенькая и некрасивая Лариса Михайловна, со старомодной косой и высоким восторженным голосом старой девы. Я у нее, конечно, был на самом хорошем счету, так как с литературой, которую любил, проблем никогда не возникало.

Не обходилось, однако, и без конфликтов, в которых каждый раз виновен был я. Помню, однажды зимой она вошла к нам в класс, румяная от мороза, с блестящими глазами, и звонко сказала: «Ребята! Сегодня мы с вами начинаем новую тему, связанную с величайшим нашим поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным, – любовь Пушкина. Дело в том, мальчики, что Пушкин был однолюб». Я, к тому времени успевший прочесть довольно много всякой всячины о поэте, в том числе дневники А.Н. Вульфа, книги Вересаева, работы Щеголева, дневник самого Пушкина в Михайловском с характерной записью о романе с Анной Петровной Керн и зная знаменитый донжуанский список Пушкина, довольно гнусно захихикал, чем неожиданно для себя вызвал ее яростный гнев. «Городницкий, – закричала она, заливаясь краской, – немедленно покиньте класс. И давайте дневник – я вам двойку поставлю!» Несколько растерянный ее внезапным и, как полагал, несправедливым гневом, я вышел в коридор и, закрывая за собой дверь, слышал, как она объясняла срывающимся от волнения голосом: «Ребята! Не верьте этому цинику! Да, действительно, женщин в жизни Пушкина было много. Но ведь Пушкин был один! И поэтому любовь каждый раз была одна – великая, светлая пушкинская любовь!» Увы, мне потребовалось полвека, чтобы понять, как она была права!

Историю в восьмом и девятом классах вел худощавый и подтянутый, с высоким лбом и строгими роговыми очками Вячеслав Николаевич, ушедший потом преподавать в Нахимовское училище и надевший морскую форму. Вот кто умел говорить красиво! В нескольких словах мог он развернуть захватывающую картину штурма Бастилии или казни Робеспьера. Именно ему я обязан пожизненной любовью к истории. Именно он дал впервые прочесть поразившие меня тогда книги Стефана Цвейга «Жозеф Фуше», «Подвиг Магеллана» и «Звездные часы человечества». В десятом классе его сменил Петр Антонович, лысоватый и неряшливый, с вытянутой длинной и асимметричной головой. Он вел историю СССР и объяснял ее по-простецки: «Услышав это, Ленин сказал: «Ты, милочка Коллонтай, не очень-то тут разливайся, мы тебя враз укоротим!» Впрочем, человек он был добрый, да и отрезок истории ему попался неблагодарный.

Нельзя, конечно, обойти в памяти и уроки военного дела, и нашего израненного под Ленинградом инвалида-военрука в гимнастерке, на которой желто-красных нашивок за ранения было не меньше, чем орденских колодок. У нас, послевоенных мальчишек, отношение к оружию было особенным. С огромным энтузиазмом мы в сотый раз разбирали и собирали затворы знаменитой мосинской трехлинейной винтовки образца 1891 года или пистолета-пулемета системы Шпагина и палили с пыльных матов по картонным мишеням.

Классным руководителем с восьмого по десятый класс была у нас учительница немецкого языка Софья Львовна Щучинская, маленького роста, с черными зачесанными гладко волосами и гоголевским профилем. Характер у нее был сложный и жестокий. Именно она была инициатором создания в школе рукописного журнала «Проба пера», сменным редактором которого в числе прочих был и я. Печатался он на машинке в одном экземпляре. Обложку и рисунки делали сами. В журнале помещались стихи, проза и публицистика. Помню, всего было выпущено номеров шесть (выходил он раз в месяц). К великому сожалению, после перевода 236-й школы в другой район все старые архивы наши, в том числе и журналы «Проба пера», были сожжены. У меня чудом сохранился один номер с напечатанной там моей первой поэмой «Ноябрь».

Вспоминаю замечательную историю. Была весна, десятый класс, и прямо у подъезда школы продавались леденцы «Петушок на палочке». Все мальчишки на большой перемене накупили этих леденцов. Следующим уроком был немецкий. Вошла Софья Львовна и сказала: «Как вам не стыдно! Вы уже взрослые мужчины! Это пошло! Вы «Петушков на палочке» купили. Вот Городницкий никогда бы не опустился до такого безобразия». В это время открылась дверь, и вошел я с «Петушком на палочке».

Мой одноклассник Толя Рыжиков припоминает еще один забавный случай: «Сидим мы с Городницким в классе. К нам подходит Софья Львовна и спрашивает: «Как вы думаете, кого нам избрать комсоргом?» Я говорю: «Конечно, Камского». Городницкий возражает: «Какого Камского?! Камский пессимист». – «Ну какой же он пессимист? – говорю я. – Он просто говорит то, что думает». Городницкий отвечает: «Вот это и называется – пессимист».

Оглядываясь назад, я понимаю теперь, что в те далекие и неискренние годы Софья Львовна Щучинская делала все, что могла. Она говорила часто, что не учеба главное в школе, а жизнь в коллективе. «Вы будете вспоминать через несколько лет уже не нас и не школу, а только то, что вы сами успели в ней сделать». Вот и я теперь действительно вспоминаю журнал «Проба пера» и бережно перелистываю его желтые страницы с никому уже, кроме меня самого, не нужными стихами и рассказами. Вместе с тем я никак не мог отделаться от постоянного чувства неловкости, не вполне осознанной, которая возникала у меня всякий раз, когда на классном собрании по любому поводу она громко кричала: «Даю честное слово коммуниста!» Софья Львовна умерла от рака в конце 50-х годов, и я был в числе двух или трех одноклассников, шедших за ее гробом.

Что же касается моих гуманитарных склонностей в школьные годы, то все относительно. Несколько лет назад я присутствовал на Дне открытых дверей в Международном университете в Дубне, где я числюсь профессором по кафедре наук о Земле. По случаю праздника весь профессорский состав облачили в красные мантии и конфедератки. На кафедре информатики, где мы с коллегами уже успели пропустить по паре рюмок коньяка, стояли компьютеры с экзаменационными тестами для поступающих, вокруг которых толпились студенты и абитуриенты. Когда мы подошли, кто-то из них пошутил: «Вот, дорогие профессора, вы нам тут вопросов наготовили. А сами-то можете на них ответить?» – «А что, – неосторожно сказал я, разгоряченный коньяком, – можно попробовать». Хохочущая стайка абитуриентов обступила меня и потащила к компьютеру. Остальные профессора от этого скромно уклонились. И тут я не без испуга вспомнил о своих проблемах с физикой и математикой в школе. Отступать, однако, было поздно – плотное кольцо насмешливых абитуриентов уже сомкнулось вокруг меня. «Ну, ладно, – подумал я, отрезвев от страха, – с литературой и языком-то я как-нибудь справлюсь. А вот как бы с физикой и математикой не опозориться». Результат тестирования оказался для меня весьма неожиданным: английский я еле вытянул на тройку, по литературе получил четверку, а физику и математику, не задумываясь, ответил «на пять».

В то трудное послевоенное время для нас, полуголодных ленинградских мальчишек, самым доступным искусством оставалось кино, игравшее огромную роль в формировании системы наших ценностей и стереотипа поведения.

«Из всех искусств для нас важнейшим
Является кино», – заметил Ленин.
И не ошибся: в школьные года,
Послевоенные, да и позднее тоже,
Оно сердца нам жгло на всю катушку.
Катушки эти, помню, привозили
В тяжелых металлических коробках,
Защитною окраскою и формой

Напоминавших цинки для патронов
Или противотанковые мины,
Которые в ту пору находили
Под Сиверской и возле Сестрорецка.
Ах, эти фильмы! Именно по ним
Учились мы, как надо целоваться,
Закуривать и открывать бутылку,
Да и другим вещам, необходимым
Для юношеской жизни, о которых
Умалчивали школьные программы.
...Прощай, кинематограф. Ты теперь
Искусство ретро, как и оперетта,
Что вытеснена шоу, или книга
В суровую эпоху Интернета.
Прощай, кино. Уже не будем мы
Из темноты с надеждою на свет
Смотреть, замороженные лучом
Твоей трескучей кинопередвижки.
Прощай, мое важнейшее искусство,
Последняя и первая любовь.
Ты – жизнь моя, которая прошла
И более уже не повторится.

Кончались 40-е годы, о мрачной оборотной стороне которых я тогда не догадывался. Уже шла вовсю «борьба с космополитами», предвещая в недалеком будущем «дело врачей». Уже были преданы анафеме Ахматова и Зощенко, Шостакович и Мурадели. Снижали послевоенные цены, но испуг оставался привычным выражением человеческих лиц. Что же делать... У нас не было другого детства и юности. Для меня конец 40-х годов стал временем первых, вполне платонических сердечных увлечений, горьких раздумий о своей неисправимой национальной неполноценности, мечтаний о будущем, где мне хотелось бы стать «настоящим мужчиной».

Характерно, что поэзия не занимала никакого конкретного места в моих жизненных планах – она как бы существовала сама по себе, не становясь в то же время самоцелью. Я в ту пору увлекался историей и даже собирался поступать на истфак в университет. Свидетельством этого осталось интервью, взятое у меня как у «круглого отличника» каким-то незадачливым корреспондентом молодежной газеты «Смена» в девятом классе в 1949 году. Интервью вместе с фотографией попало на страницы газеты, откуда много лет спустя переключалось в юбилейную книгу, посвященную шестидесятилетию газеты «Смена». В книге этой напечатаны «Атланты» и мое дурацкое давнее интервью, названное в духе того времени «Смело смотрим вперед», где я наивно заявлял, что собираюсь после школы в Ленинградский университет.

Что еще занимало нас тогда? Ну, конечно, любовь. Для нас, питомцев мужской школы, девочки были инопланетянами. В восьмом классе у нас организовали кружок танцев, куда пригласили девочек из соседней 235-й школы. Борьба с «иностраницей» и космополитизмом была в самом разгаре, поэтому фокстроты и танго, воплощавшие тлетворное разложение буржуазного Запада, были объявлены вне закона. Даже слова были изъяты из обихода. Когда на танцах, не более одного раза за весь вечер, играли все-таки танго или фокстрот, их стыдливо называли «медленный танец» и «быстрый танец». Строгие комсомольские патрули на школьных вечерах бдительно следили, чтобы никто не вздумал танцевать неприлично развратный «Гамбургский стиль» фокстрота, считавшийся пределом грехопадения. В кружке танцев поэтому тщательно изучали русский бальный, падекатр, чардаш, краковяк и другие мертво-

рожденные балльные танцы. Единственным, кажется, утешением был вальс. Ему я обучился быстро. Считалось особым шиком закружить свою партнершу до такого состояния, чтобы у нее начала кружиться голова, и она, боясь упасть, старалась сама ближе прижаться. Умение танцевать в старших классах казалось нам столь же необходимым, как, например, умение читать.

Саша Малявкин, мой сосед по парте в девятом классе, переводившийся ненадолго в школу рабочей молодежи и успевший почерпнуть там изрядный опыт сексуальных навыков, регулярно ходил на танцы в клуб «Швейник» на Исаакиевской площади и постоянно дразнил наше любопытствующее воображение рассказами о своих победах. По этому поводу в подпольном классном журнале, который вел мой другой одноклассник Миша Капилевич, про Малявкина были написаны исторические слова: «Хвастается, что познал женщину. Однако это свист». Про меня, кстати, Миша Капилевич, а он давал всем весьма нелюбезные характеристики, написал следующее: «Маленький, слабенький, а хищник».

Саша Малявкин учился со мной вместе в Горном институте, после чего стал моим коллегой, геофизиком, работал на аэромагнитной съемке в Антарктиде. Остальные одноклассники перебивались редкими поцелуями. Куда нам, тогдашним, тягаться с современными старшеклассниками, отягощенными ранним сексуальным опытом! Зато устраивались многочисленные ханжеские диспуты на тему «Дружба, товарищество и любовь», где прыщавые лбы-переростки и полногрудые девятиклассницы, стараясь не смотреть друг на друга, на полном серьезе обсуждали, может ли быть «чистая дружба» между юношей и девушкой.

И все-таки наступали волнующие майские дни, когда на подоконники окон выставлялись радиолы и пробивалась первая светлая зелень на тополях, стоящих вдоль Мойки, и щемящие до сих пор сердце мелодии вальса «Память цветов» или фокстрота «Укротитель змей» манили наши неокрепшие души и тела смутным обещанием немедленного счастья. И бледные, незагорелые ноги девчонки из соседнего дома в неожиданно короткой, не по тогдашней моде, юбке заставляли беспокойно просыпаться светлой ночью, отличавшейся от дня только тишиной и неподвижностью.

С той поры минуло более шестидесяти лет. Сейчас в бывшем здании нашей школы размещается учебный корпус Института физкультуры и спорта имени Лесгафта. Мраморные доски с именами золотых медалистов, в том числе и с моим, сняты со стен и выброшены. Когда я смотрю на выпускную фотографию нашего десятого «Б» класса 236-й мужской школы Октябрьского района Ленинграда в 1951 году, то с грустью отмечаю, что многих уже нет на свете, а многие навсегда уехали в отдаленные края. В Нью-Йорке несколько лет назад умер мой сосед по парте Алик Камский. Один из моих самых близких друзей, Толя Рыжиков, теперь живет в Калифорнии, в городке Сан-Хосе неподалеку от Сан-Франциско. Несколько лет назад он закончил книгу воспоминаний с характерным названием «Впереди – прошлое». Книга эта вышла несколько лет назад в Питере в издательстве моего друга, известного литератора Николая Якимчука, и была удостоена престижной литературной премии «Петрополь», которую вручали в Музее А.С. Пушкина на Мойке, 12.

Нелепо от утренней боли
Искать утешенье во сне.
Товарищ мой Рыжиков Толя
Скучает в далекой стране.
В округе цветные пейзажи,
Сиянье воды голубой,
О калифорнийские пляжи
Стучит океанский прибой.
Товарищ мой Рыжиков Толя,
Ему нелегко одному.

С ним вместе учились мы в школе
Полвека и больше тому.
Листаем мы старые снимки
Далеких мальчишеских лет.
На снимках мы сняты в обнимку
С друзьями, которых уж нет.
Теперь они все – невидимки,
А мы еще живы пока.
Мы смотрим на старые снимки,
Сутулые два старика.
На раны насыплет нам соли
Волны настоявшийся йод.
Товарищ мой Рыжиков Толя
Нам водки в стаканы нальет.
И мы с ним поднимем стаканы
На этом крутом берегу
За класс наш, что в прошлое канул,
За Мойку в январском снегу.

Комната, где ютились мы с отцом и матерью, была узкой и длинной и напоминала трамвайный вагон. В одном торце ее помещалась дверь, в другом – окно. Зато за окном открывался необъятный вид на весенний город. Дом был огромный, старый, угловой, выходивший и на Мойку, и в Фонарный переулок. Фасад дома в его верхней части был украшен лепными ангелами. Один из них располагался возле нашего окна, слева от него. Справа, симметрично ангелу, красовалась водосточная труба. До сих пор помню весенний праздник его открытия, когда из щелей извлекалась пожелтевшая за зиму вата, отдирались полоски бумаги и крошащаяся замазка и распахивались пыльные рамы, впуская в нашу тесную комнату таинственную полифонию вечернего города. Со стороны фасада окно было перехвачено старинной чугунной решеткой, так что на широком подоконнике при открытом окне образовывалось что-то вроде небольшого балкона, где я обычно любил устраиваться с книгами или тетрадками.

Кто-то из моих друзей однажды сказал, что мировоззрение человека во многом определяется тем, что он видел в детстве из своего окна. Так вот, на Васильевском острове я из своего окошка видел только глухую стену во дворе, а из этого окна многое другое.

Прямо подо мной, глубоко внизу, медленно струились грязно-зеленые воды Мойки, по которой иногда, пыхтя, тянул буксир какую-нибудь баржу да в начале лета проплывали учебные шлюпки с обнаженными по пояс загорелыми курсантами Высшего военно-морского пограничного училища, располагавшегося неподалеку от нашего дома, на другом берегу Мойки, возле Поцелуева моста, в здании бывшего Гвардейского экипажа. Враз поднятые по команде сверкающие на солнце весла, резко нагибающийся в такт гребкам старшина, командующий «р-раз, р-раз», неизменный военно-морской флажок на корме – все это заставляло сжиматься сердце в мечтах о настоящем море.

Вечерами по булыжной мостовой возле нашего дома с песнями маршировали курсанты Высшего транспортного училища, также располагавшегося неподалеку. Эти ежевечерние строевые песни «Распрягайте, хлопцы, коней», «Эй, море Черное, песок и пляж», «Взвейтесь, соколы, орлами» и другие, как ни странно, рождали чувство стабильности и покоя.

Напротив дома на противоположной стороне Мойки возвышалось несуразное здание Дома культуры работников связи в стиле социалистического конструктивизма начала 30-х годов, перестроенное когда-то из немецкой кирхи, своим серым обликом и высокой башней напоминавшее старинный средневековый замок. По выходным на последнем этаже его, где

помещался танцевальный зал, устраивались танцы, и громкие звуки оркестра до позднего вечера вырывались из узких длинных окон, похожих на бойницы. В 90-х годах в верхних этажах башни размещалась одна из питерских радиостанций. Мне довелось побывать там на эфире, и я через много лет с грустью снова взглянул на «свое» окно на пятом этаже отреставрированного ныне дома, между ангелом и водосточной трубой.

Правее, над крышами старых домов на бывшей Большой Морской, где жили когда-то Набоковы и другие именитые дворяне, сиял в лучах заходящего солнца купол Исаакиевского собора. Перед блокадой он был покрашен, «чтобы не служил ориентиром для немецкой артиллерии при обстреле». Помню, как после войны с него долго соскребали краску специально подрядившиеся альпинисты-верхолазы. Это ежевечернее золотое сияние за окном, являвшее разительный контраст с нищенской нашей домашней обстановкой, стало для меня как бы необходимой частью домашнего интерьера.

Лет десять назад на брифинге в роскошной резной черного дерева гостиной особняка Набокова на Большой Морской, где теперь располагается редакция газеты «Невское время», кто-то из журналистов спросил меня: «Скажите, а вы впервые в особняке Набокова?» – «Нет, – ответил я, – я здесь уже был много лет назад, в сорок девятом году. Тогда я ходил по всей этой анфиладе совершенно голый, прикрываясь листом бумаги». Мое неожиданное заявление привело присутствующих журналистов в явное смятение. Они решили, что у меня «поехала крыша». Пришлось пояснять, что в этом доме в 1949 году помещался райвоенкомат, где я вместе с другими допризывниками проходил приписку и необходимую при этом медкомиссию. В каждой из комнат бельэтажа сидели врачи, и мы, раздетые догола, ходили из комнаты в комнату, стыдливо прикрываясь обходным листом.

Левее Дома культуры связи, над крышами домов, в том месте, где Большая Морская соединялась с набережной Мойки и в маленьком скверике в апреле всегда прежде других начинали зеленеть два деревца, отчетливо были видны верхушки мачт огромного парусника «Крузенштерн», стоявшего в те годы у причала на набережной Невы, неподалеку от моста Лейтенанта Шмидта. Мачты эти, черневшие на фоне пронзительных алых и желтых закатов, пылавших над Васильевским и Петроградской, будили чувство счастливой тревоги, напоминая о том, что мы живем на берегу, и вселяя обманчивую иллюзию о доступности дальних стран. Старый этот парусник, построенный в Германии в 1926 году, был захвачен в качестве военного трофея и много лет стоял здесь без движения, ожидая своей дальнейшей участи. Мог ли я тогда думать, что буду штормовать на нем в суровой зимней Северной Атлантике, плыть Гибралтарским проливом мимо Геркулесовых столбов, швартоваться у причалов далекой Ямайки?

Этот пьянящий воздух вечернего города, пропитанный звоном трамваев, обрывками танцевальной музыки, резкими криками вдруг вспыхивающих на солнце чаек, сигналами автомобилей, протяжными гудками близких судов и, наконец, звонким стуком чьих-то запоздалых каблучков по камням в молочном безмолвии белой ночи, кружил голову упрямым, несмотря ни на что, ожиданием счастья на завтра. Необъятность и неопределенность будущего, кажущееся богатство выбора – все пьянило воображение. И писались стихи, глупые и беспомощно-восторженные, а ныне недоступные, вызывающие острое чувство ностальгии.

Летит окрестная листва
На мокрый парпет.
На Мойке, восемьдесят два,
Я прожил много лет.
Несолнечная сторона
На северо-восток,
Налево – ангел у окна,
Направо – водосток.

Свистели бомбы за окном,
Был зимний ветер лют,
Ах, ночи белые потом
И праздничный салют!
Прожектор бело-голубой
И разноцветный снег!
Ах, эта первая любовь,
Что помнится навек!
На Мойке, восемьдесят два,
Я числился, жилец.
На Кировские острова
Возил меня отец.
Отстукивал мне время днем
Привычный метроном,
Солдаты пели перед сном,
Шагая под окном.
Стоял на Мойке старый дом,
И с самого утра
Скрипели весла за окном,
Пыхтели катера.
О, ветер странствий у виска
И переключка стай!
О, эта сладкая тоска —
Фокстрот «Цветущий май»!
На Мойке, восемьдесят два,
Я прожил много лет.
Соседи сникли, как трава,
Иных — в помине нет.
Зажгитесь, давние огни,
Пластиночка, играй!
Верни мне прошлое, верни
Тот коммунальный рай,
Когда блокада и война
Стучали в нашу дверь,
Но мир из этого окна
Был лучше, чем теперь.

Отечество нам – горный институт

*За серыми окнами Горного —
Забывать их до смерти нельзя, —
Где лекции слушал покорно я,
Азы теормеха грызя,
Над линией узкой причальнойю
Маячили верфи вдали,
Гудками глухими печальными
Прощались с землей корабли.
За серыми окнами Горного,
Дневной застилая нам свет,
Желтея большими погонами,
Огромный качался портрет.
Мы шли с первомайскими флагами,
Усталых не чувствуя ног,
Под статуей Сталина плакали,
Купив со стипендий венок.
За серыми окнами Горного
Рассвет загорался и гас.
Желание славы упорное
Сжигало неопытных нас.
Направо вели экспедиции,
Налево блестела вода —
Присевшими на воду птицами
Качались у пирса суда.
За серыми окнами Горного
Клубился туман над Невой,
И небо, от копоти черное,
Вдруг вспыхивало синевой.
И плыли в воде отражения,
И вензель мерцал у плеча,
Как солнечное продолжение
Рожденного в небе луча.*

Геологией я начал заниматься так же случайно, как и стихами. Увлекаясь в старших классах литературой и историей, не в пример физике и математике, я не мог не сознать бесплодность этих увлечений. Когда я окончил десятый класс, на дворе стоял 1951 год. Еще не отшумела антисемитская кампания по «борьбе с космополитами», а уже готовилось «Дело врачей». Несмотря на золотую медаль, путь на истфак в Ленинградский университет, носивший гордое имя Андрея Александровича Жданова, был для меня с моим «пятым пунктом» закрыт наглухо. То же относилось и к основным «престижным» вузам. Идти в «разрешенные вузы» – пединститут, мединститут и так далее, входящие в «черту оседлости», не хотелось. Яд сталинской антисемитской пропаганды до такой степени корродировал мое полудетское сознание (не говорю «душу» – ее тогда, пожалуй, еще не было), что я сам себе казался человеком второго сорта, неженкой и белоручкой, ничего не умеющим. Я мечтал стать «настоящим мужчиной», закаляющим свой дух и тело постоянными трудностями и героическими подвигами, хотелось

доказать всем (и себе), что я не хуже других. Реализовать эти юношеские комплексы в те не веселые времена, по моему разумению, можно было, только связав свою будущую жизнь с армией или экспедициями...

В начале десятого класса в нашей школе появился ладно скроенный молодой подполковник с голубыми просветами и крылышками на золотых погонах, туго перетянутый скрипучей портупеей. Объявлялся набор десятиклассников в курсанты Высшей военно-воздушной академии. До сих пор помню, с каким завистливым вниманием мы следили за ним, когда он рассказывал об условиях приема. Через год – всего через год! – уже присваивается первое офицерское звание младшего лейтенанта, и жить можно будет не в казарме, а дома. Его литая фигура, туго обтянутая новенькой гимнастеркой с яркими полосками орденских колодок, зелено-черное мерцание погон, портупеи и начищенных до предельного блеска сапог безоговорочно покорили и наши мальчишеские сердца.

Нельзя забывать, однако, что для нас, школьников военного поколения, облик боевого офицера был тогда главным идеалом. Не в пример Белинскому, «титло литератора» заслонялось от нас «блеском мундиров и мишурой эполет». Кроме того, обещались большие по тем временам деньги и полная независимость от родительской опеки. Остатки сомнений были развеяны, когда на новогодний вечер в школу пришли вчерашние выпускники, ребята всего лишь на два класса старше нас, вместе с которыми мы еще вчера выпускали стенгазету и ставили спектакли. Они появились в такой же летной форме, при серебряных погонах с офицерской звездочкой на голубом просвете.

Заявления в академию подало больше половины класса, в том числе и я, совершенно упустив из виду то (показавшееся нам совершенно неважным) обстоятельство, что прием-то был только на специальность строительство аэродромов, которая никакого отношения к полетам не имела. Поскольку я, не без оснований, побаивался, что меня и в академию из-за «пятого пункта» не возьмут, то одновременно начал думать – не поступить ли в военно-морское училище, хотя, конечно, о море, как и о геологии, никакого понятия не имел, а воды боялся, поскольку плавать не умел.

В моем увлечении морем во многом «повинны» Сергей и Вадим Карцевы, уверенно пошедшие после седьмого класса сначала в подготовительное, а потом в Высшее военно-морское училище. Прибегая домой в недолгие сроки увольнений или в «самоволку», загорелые и отошавшие на военно-морских харчах братья поражали мое убогое школьное воображение незнакомыми морскими словечками. Пол они называли палубой, кухню – камбузом, стены – переборками, порог – комингсом. Мир вокруг начинал преображаться.

Казалось, привычные прежде комнатные стены, став переборками, кренятся и скрипят, унылый дом напротив, маячащий в окнах, превращается во вражеский фрегат, идущий на abordаж, а серые булыжники мостовой искрятся балтийской рябью под атлантическим норд-вестом. Братья чаще приходили в выходной форме с ярко-синим сиянием «гюйсов» (так они называли свои морские форменные воротники с тремя белыми полосками, присвоенными, как мне объяснил Сергей, русским морякам еще в XVIII веке за победы в морских сражениях). Первое, что они делали при этом, – бросались, сняв свои «гюйсы», на кухню и начинали яростно их застирывать, стараясь с помощью хозяйственного мыла и щелочей вытравить красивый синий цвет. На мои недоуменные вопросы братья снисходительно отвечали, что новенькие синие воротники – опознавательный знак «салаг», а у настоящих опытных и бывалых моряков, каковыми они, вне всяких сомнений, себя и считали, «гюйсы» должны быть бледными, выцветшими от тропического солнца, полярных ветров и соленой воды.

А чего стоили их палаши в черных тугих ножнах с черными же рукоятками и кистями на эфесах, настоящее «табельное» оружие, которое обычно небрежно отстегивалось и ставилось в угол! Разрешение «подержать» палаш обычно сопровождалось захватывающими дух историями о кровопролитных дуэлях (конечно, из-за женщины), возродивших древнее искусство

фехтования. О том, как грозные курсанты наводят ужас на всю шпану в танцевальном «Мраморном зале» на Васильевском острове. Как под угрозой обнаженных палашей испуганные милиционеры, незаконно придравшиеся к курсантам на ночной набережной, вынуждены многократно отдавать им честь, чтобы потом обратиться подобру-поздорову.

Но даже когда братья являлись в «самоволку» из какого-нибудь овощехранилища в грязных, донельзя затертых матросских «робах» и огромных не по размеру матросских ботинках последнего срока носки, прозванных «ГД» (говнодавы), они и тогда казались мне небожителями, штатными гриновскими героями, сошедшими ненадолго на берег.

Итак, мифическое море и не менее мифическое небо, ослепившие честолюбивые мечты худосочного юнца на пороге десятого класса. Я регулярно вместе со всеми являлся «на построения» и переключку на старый, еще дореволюционный плац в Военно-воздушную академию на улицу Красного Курсанта на Петроградской и одновременно собирал документы для военно-морского училища. Отец, всю жизнь работавший в системе военной гидрографии, поначалу снисходительно относился к моим безумным намерениям, справедливо полагая, что все равно из этого ничего не получится. Только когда, уже получив аттестат и медаль, я должен был назавтра окончательно отдать документы в академию, где, как ни странно, попал в список, он всерьез встревожился и с несвойственной ему безоговорочно-твердой манерой категорически отговорил меня связываться с военной службой, которую слишком хорошо знал.

Что же было делать? Недолго сомневаясь, я отнес документы на Васильевский в приемную комиссию Ленинградского горного института, где просил зачислить меня на геолого-разведочный факультет. Почему именно Горный? А не потому ли, думаю я теперь, что и в Горном институте в те времена тоже была форма, унаследованная еще от царских времен и, кстати, весьма напоминающая морскую офицерскую – с такими же двубортными тужурками, украшенными золотыми жгутами погон с литыми буквами на них, напоминавшими императорские гербы? Да и само знаменитое здание воронихинской постройки с его грязно-белой колоннадой располагалось на самой набережной, и неподалеку от подъезда поскрипывали у причала суда. А из вечно пыльных окон институтских аудиторий были видны мачты и надстройки огромных кораблей, стоявших на соседних стапелях Балтийского завода. А еще дальше, за унылыми заводскими корпусами, редкий солнечный луч вдруг выхватывал из дымной мглы ослепительную рябь Маркизовой лужи. Я никогда в отличие от Володи Британишского не увлекался минералогией и геологией и выбирал скорее не специальность, а образ жизни, который в моем наивном мальчишеском воображении был связан с постоянными экспедициями, преодолением трудностей и приключениями. Значительно позднее я прочел и взял на вооружение мудрую фразу любимого мною Роальда Амундсена, одного из самых героических путешественников, открывшего Северный и Южный полюс: «Всякое приключение – результат плохо организованной работы».

Жесткого «национального ценза» в Горном (по сравнению с университетом) как будто не было, и я сравнительно легко прошел обязательное для медалистов собеседование. Строгая медкомиссия также подтвердила мою принципиальную пригодность к трудностям геологических скитаний. Но здесь совершенно неожиданно возникла новая проблема. Оказалось, для поступления в Горный надо обязательно совершить прыжок с вышки в воду, как это требуют нормы программы физподготовки «Готов к труду и обороне». До сих пор не могу понять, какой идиот придумал это условие, что общего между геологией и прыжками в воду.

Известие это повергло меня в полное уныние, поскольку плавать я тогда не умел совершенно. В Горный, однако, очень хотелось, и я, непонятно на что надеясь, отправился в толпе абитуриентов к водному стадиону на Гребной канал. Кончался дождливый ленинградский август. День был будний, холодный и ветреный, на влажных дорожках парка на безлюдных Кировских островах лежали первые осенние листья.

Нас загнали в раздевалку, и затем мы, зябко поеживаясь, долго толклись на некрашенных холодных досках купальни под порывами сырого ветра, ожидая, пока нас по одному вызовут на вышку. Услышав свою фамилию и мгновенно вспотев от волнения и страха, я на подгибающихся непослушных ногах направился к вышке с твердым намерением прыгнуть во что бы то ни стало, хотя и уверен был, что иду на самоубийство. «Главное – прыгнуть, – твердил я себе, собрав остатки мужества, – а уж потом как-нибудь вытащат». Наивный школьник, воспитанный под сталинский барабан, я тогда всерьез полагал, что «в советской стране человеку не дадут погибнуть». Увы, сорокалетний опыт экспедиций впоследствии показал, что на деле все обстоит совсем не так.

Руки и ноги меня не слушались. Когда я наконец взобрался на вышку, где очутился впервые в жизни, глянул вниз на отвратительную серую воду с огромной, как мне показалось, высоты и сделал пару неуверенных шагов по шаткой доске, с которой мне надлежало прыгнуть, то понял, что ни за что на свете этого не сделаю. Без всякого юмора вспомнил я в этот момент старый анекдот про еврея, который пообещал, что за четыре поллитры спрыгнет с Исаакиевского собора. Когда он забрался туда, то заявил: «Об соспрыгнуть не может быть и речи. Вопрос об том, как слезть вниз». Я повернулся, чтобы с позором уйти назад, но в этот момент доска спружинила, и я упал в воду. Мне засчитали прыжок. Так я стал геологом...

Ленинградский горный институт начала 50-х годов представлял собой своеобразное заведение. С одной стороны – старейший технический вуз, основанный еще при Екатерине II для дворян как «офицерский корпус горных инженеров». В знаменитом музее, среди образцов исчезающих ныне видов горных пород вроде малахита и диковинного чуда – пальмы, выкованной русским умельцем из обыкновенного чугуна рельса, и портретов ставших известными выпускников (в числе которых красуется теперь и мой), можно увидеть образцы форменных сюртуков конца XVIII века и короткие шпаги «Господ Горных Ея Величества инженеров». Давние эти традиции как бы подчеркивались вновь введенной после войны для горняков и геологов формой. Нам, юнцам, нужды не было в том, что безумный генералиссимус решил перевести на казарменный образ жизни почти все гражданские ведомства. Нас радовали фуражки с молоточками, подтверждавшие принадлежность вчерашних нищих мальчишек к «Горному корпусу». Фуражки эти с самого начала первого курса, еще за год до получения формы (ее разрешали носить только со второго курса), были предметом немалой гордости. Их полагалось заказывать в специальных ателье, где шились они как морские офицерские фуражки – с высокой тульей и широкими полями. Козырек, наоборот, был небольшим, круто скошенным вниз и острым «нахимовским». Молоточки же, украшавшие тулью спереди, должны были быть обязательно геологическими – тонкими, а не, упаси боже, толстыми – горными.

Что касается научной базы, то, несмотря на сталинские разгромы и чистки, в Горном отчасти сохранилась старая школа профессуры – от академиков Келля Германа и Наливкина до профессоров Погребницкого, Нестерова, Шафрановского и многих других. Сохранились многолетние и даже вековые традиции горного дела, столь уважаемого и важного в Российской империи. Во дворе Горного нам показали самую настоящую шахту, построенную еще в XIX веке и точно отображавшую действующие шахты. Преподавательский корпус, где жили профессора и доценты, выходивший на 21-ю линию, носил старое название «офицерский». А сами наши профессора щеголяли в двубортных форменных мундирах «горных директоров» различных рангов, вплоть до генеральских, украшавших их мятые брюки синими адмиральскими лампасами.

В студенческих курилках с придыханием рассказывали о дореволюционной жизни института, в частности, о на шумевшей в свое время дуэли между тогдашними студентами Германом и бароном Врангелем, которая случилась «из-за актрисы». Актрисой была еще здравствовавшая в 50-х годах заслуженная артистка Александринского театра Елизавета Тиме. Дуэль как будто кончилась бескровно, но разыгрался скандал, и, согласно легенде, барон Врангель

вынужден был уйти из Горного и поступил учиться в военное заведение. Упорный же Герман стал нынешним академиком. А ведь, пожалуй, повернись дуэль иначе – и история Гражданской войны могла бы быть иной.

О действительном разгроме профессуры Ленинградского горного института мы узнали уже позднее, после 53-го года, когда всплыли подробности «дела геологов», по которому пострадал, в частности, один из ведущих отечественных тектонистов профессор Тетяев.

С другой стороны, студенческая жизнь после школы показалась нам вольницей. Героические легенды складывались не только о прошлом института, но и о настоящем. Так, вроде еще в прошлом году, как снисходительно рассказывали старшекурсники, на кольце трамвая № 21, который в то время делал круг у самого подъезда института, состоялась историческая драка «горняков» с матросами. К матросам присоединились курсанты соседнего училища имени Фрунзе, и студентов начали сильно теснить. Тогда несколько десятков добровольцев с криком «наших бьют» помчались по коридорам института, распахивая подряд все двери попутных аудиторий, из которых, если верить вдохновенным рассказчикам, выбегали вместе со студентами и преподаватели. Равенство сил было восстановлено, и побоище удалось прекратить, только вызвав две пожарные команды и разделив враждующие толпы движущимися трамваями. Масса страшных историй, обраставших сексуально-питейно-героическими подробностями, была связана также со знаменитым студенческим общежитием на Малом, 40.

В ту пору студенты Горного лишь частью формировались из недавних десятиклассников. Значительную долю составляли вчерашние фронтовики и производственники, пришедшие с шахт и металлургических заводов. Они с презрением поглядывали на нас, послешкольную мелюзгу, не знающую настоящей жизни и мающуюся романтическими бреднями. Надо сказать, что, несмотря на частые запой и драки, ставшие в Горном довольно будничным явлением, эти великовозрастные, как мы считали, люди учились упорно и настойчиво, хотя им науки давались намного труднее, чем нам – вчерашним школьникам. До сих пор помню нашего старосту-белоруса Дору Трофимовича, человека богатырского роста, с безукоризненной строевой выправкой и вставными золотыми зубами, всегда ходившего в новенькой офицерской гимнастерке с белоснежным подворотничком, многочисленными орденскими планками и с полевой сумкой в руках. На войне он служил в охране Жукова, но рассказывать об этом не любил. Старостой в параллельной группе был также бывший армеец Кирилл Иванов, быстро ставший партийным лидером, человек с правильно красивым российским лицом и светлыми кудрями. Не помню уже от кого, может, от них пошла мода ходить на занятия не с портфелями, а с офицерскими полевыми сумками, в которых таскали мы наши несчастные конспекты. Атташе-кейсов, столь модных позже, тогда, конечно, не было и в помине. Нарядами родители нас тоже не баловали, поэтому обычной формой одежды на первых курсах были затертые лыжные костюмы и комбинированные курточки лен-швейного незатейливого покроя.

Профессора и преподаватели наши тоже порой бывали странными. Так, читавший математику доцент Вербицкий, будучи искусным художником, изображая по ходу лекции на доске интеграл, вместо обычного штриха или звездочки мастерски пририсовывал под ним в качестве индекса поросенка и говорил: «Интеграл два поросенка» и так далее. Первую свою лекцию в начале второго курса он начал словами: «Итак, друзья, начинается длительный и неприятный перерыв между каникулами».

Практику по математике в нашей группе вел веселый и доброжелательный человек Семен Борисович Фридман, принимавший зачеты и экзамены обычно навеселе, благодаря приносимым нами же «маленьким». «У меня на первом курсе, – рассказывал он, – была одна студентка, которая прекрасно знала математику: она точно знала, что есть синусы, и смутно догадывалась, что должны быть и косинусы, но о тангенсах не слышала ничего».

Курс физики читал профессор Тер-Погосян, человек рассеянный и добрый. «Ваша фамилия Обложкина? – спросил он как-то на занятии мою однокурсницу. – У меня на втором курсе

есть студент по фамилии Переплетов. Надо бы вас познакомить». «Городницкий, – сказал он мне на экзамене по механике, – почему вы меня можете поднять за волосы, а себя нет?» – «Вас тоже не могу», – неучтиво ответил я, покосившись на его лысый смуглый череп. «Пожалуй, вы правы, – грустно усмехнулся он, – давайте зачетную книжку». Практику по физике вел крошечного роста шарообразный, со злыми глазами доцент Звягин по прозвищу Молекула. Уверяли, что всем, кто выше его ростом, он больше тройки на экзаменах не ставит.

Профессор Салье, входивший, блестя глазами, в аудиторию в своем изрядно потертом и лоснящемся «горнодиректорском мундире», в выражениях обычно не стеснялся и смело крыл «демагога и хама, незаконно захватившего пост министра геологии СССР Антропова».

Более же всего разных баек ходило вокруг члена-корреспондента Академии наук СССР Николая Келля, бывшего одно время ректором, но всегда одевавшегося чрезвычайно скромно. Рассказывали, в частности, историю, как во время учебной геодезической практики, которая проводилась после первого курса в Псковской области, в районе деревни Вышгород, бригада студентов долго возилась с мензульной съемкой. Когда все устали и обозлились, к ним подошел босоногий старичок в холщовой рубаше и соломенной шляпе и сказал: «Ребятки, может, лучше сделать так-то и так-то?» – «Да пошел ты, дед, – возмутились студенты, – знаешь куда? Что ты в этом можешь понимать?» И послали. И дед пошел. А на следующий день, явившись сдавать зачет по практике, они с ужасом увидели того деда, но уже в генеральском мундире, во главе комиссии.

Главным источником наших первокурсных мучений были, конечно, техническое черчение и начертательная геометрия. О, эти бессонные ночи над «эпюрами» и «листами»! Они одни способны на всю жизнь отбить охоту к любой технической специальности. А «Теория машин и механизмов» – ТММ, которая расшифровывалась студентами – «Тут моя могила». Преподаватели ее были не слишком либеральны. Так, доцент Филиппов во время сессии заключал пари со своими коллегами на две бутылки коньяка. Выигрывал тот, кто срежет больше сдающих.

«А что это у вас?» – спрашивал бывало доцент Фомин на зачете по теории машин и механизмов у робкой вчерашней десятиклассницы. «Маховичок», – жалобно пищала студентка. «Правильно, – улыбался экзаменатор. – А что он делает?» – «Вращается». – «Молодец, – поощрительно хмыкал Фомин. – А сколько он оборотов делает в минуту?» – «Сто двадцать». – «Умница, – окончательно расцветал экзаменатор. – А если его в красный цвет покрасить, с какой скоростью он будет вращаться?» – «Не знаю», – краснела девица. «Ну, идите, еще почитайте».

На пятом этаже лабораторного корпуса располагались большие чертежные аудитории, тесно уставленные кульманами и чертежными столами. Здесь было круглосуточно дымно, как в аду, горел свет и сгибали спины над чертежами злополучные хвостисты. Хотя курить здесь категорически запрещалось, на это никто решительно внимания не обращал. В коридоре перед чертежными комнатами по сходной цене можно было торговаться с умельцами, бравшимися за пару поллитровок выполнить любой чертеж. Прямо в чертежке часто принимались и зачеты, благо сама кафедра начертательной геометрии тоже располагалась на пятом этаже.

Немало проблем мне доставляла физкультура, которой в Горном уделялось особое внимание. Будучи с детства крайне неспортивным, еще в школе со страхом шарахаясь от брусьев или «козла», я, попав на общую физкультурную подготовку, испытывал изрядные муки всякий раз, когда требовалось выполнить какое-нибудь обязательное упражнение. Неприятности эти дошли до края, когда, пытаясь метнуть гранату, я чуть не попал ею в стоявшего неподалеку преподавателя. Не знаю, сколько бы еще мои мучения продолжались, если бы кто-то из однокурсников, уж не помню сейчас кто именно, не дал мне умный совет – записаться в секцию штанги. Помню, вначале я страшно удивился, поскольку богатырским сложением не отличался ни до, ни после. «Это совершенно неважно, – заявил мой доброжелатель, – ты попробуй».

Секцией штанги руководил экс-чемпион Союза по борьбе и поднятию тяжестей с довольно громкой в прошлом спортивной фамилией. Весил он более ста пятидесяти килограммов и силой обладал неимоверной. Когда на остановке он ступал на подножку трамвая, вагон со скрипом кренился. Занятия штангой оказались и вправду совсем несложными. В наши обязанности входило чистить и красить гриф и диски да время от времени разучивать упражнения с небольшими нагрузками. Чаще всего члены секции сидели вокруг штанги и слушали захватывающие истории из мира большого спорта, которые с удовольствием рассказывал наш тренер – после того как дежурный возвращался с очередной бутылкой. Держа в руке налитый стакан, он поучал нас: «В штанге ведь что главное? Следите за мной. Главное – взять на грудь. Дальше – пойдет сама». Зачеты нам ставились автоматически, и я до сих пор благодарен своему тренеру за чувство юмора и избавление от мук.

Совершенно автономным государством в Горном была военная кафедра, располагавшаяся на шестом, последнем этаже лабораторного корпуса. Командовал ею тогда генерал-майор Ефременко. Сначала кафедра готовила артиллеристов, и в первом этаже лабораторного корпуса долгое время стояла большая гаубица. При нас, однако, начали готовить уже не артиллеристов, а саперов, которые «ошибаются один раз в жизни». Военные занятия, проводившиеся всегда по четвергам, не были особо обременительными. Лекции по «общевоинской подготовке» читали красавцы полковники, одетые в сияющую форму с пестрыми орденскими планками. Особым красноречием, впрочем, они не отличались. Помню, один из них, рассказывая о «боевой славе русской пехоты», поведал нам о том, что на «Бородинском поле гвардейское каре Семеновского полка двенадцать раз отражало атаки французских керосинов». – «Не керосинов, а кирасиров», – робко поправил лектора один из моих однокашников, за что был с лекции изгнан. «У нас на кафедре – все дубы и все шумят», – заметил как-то молодой офицер.

На шестом этаже стоял огромный ящик, в котором был макет местности с рекой, высотами, населенным пунктом и тому подобными объектами. Здесь обычно проводились учебные занятия по тактике. Какая-то студенческая пара после одного из танцевальных вечеров избрала этот довольно уютный ящик для своих любовных утех, удобно устроившись на холмистом рельефе тактической местности. Однако, явно не рассчитав своих сил, подорванных сильными эмоциями, а возможно, и бутылкой портвейна, которая была прихвачена с собой для тактических игр, они крепко уснули. Разбудил их уже на следующее утро дежурный офицер, открывший ящик перед очередной учебной группой и обнаруживший обнявшихся любовников с пустой бутылкой в руках. На военной кафедре по этому замечательному случаю все занятия были отменены, а полковники и подполковники (ниже званий не было) в праздничном настроении отправились с санкции генерала в близлежащий ресторан «Балтика», чтобы отметить чрезвычайное происшествие. Взятая в плен военной кафедрой пара была милостиво отпущена на все четыре стороны.

На первом и втором курсах начались и специальные предметы – общая геология, минералогия и палеонтология, о которых до сих пор вспоминаю с интересом. Практикой по палеонтологии руководил добрейший Борис Васильевич Наливкин. На зачете надо было определить по внешнему виду тип окаменелости и назвать его по-латыни. Моему соседу Коле Золотокрылину достался отпечаток какого-то древнего папоротника, довольно характерный на вид. Коля, однако, все вертел его в руках и никак определить не мог. «Ну-с, – подошел к нему Наливкин, – что вы про это думаете?» – «Если это то, что я думаю, – ответил Коля, – то где же у него глаза?»

Наши представления о геофизике, с которой мы так опрометчиво связали свои жизни, были в те поры более чем скромные. Знали мы только, что если геолог изучает строение Земли по образцам пород, найденных на поверхности, то геофизика исследует ее глубинное устройство на основе измерений разных физических полей – электрического, магнитного и других. Помню, как член-корреспондент Татаринов, читавший у нас курс по полезным ископаемым, на одной из своих лекций неожиданно дал довольно исчерпывающее определение геофизике как

науке: «Геофизика подобна мини-юбке – она позволяет увидеть массу интересного, скрывая в то же время главный источник информации».

Помню, как уже на втором курсе мы собирались на «мальчишник», чтобы отпраздновать получение формы (тужурки и шинели офицерского образца с черными бархатными контрпогонами, украшенными медными литыми буквами «ЛГИ»). Мы, помню, чрезвычайно гордились своей формой. Особенно нас радовало, когда пьяные матросы на Невском, не разобравшись в непонятной форме, похожей на морскую, отдавали нам честь. На «мальчишнике», куда принесли одновременно водку, ликеры и разные вина, пили все подряд, поскольку опыта в этом еще не имели. В результате новая форма изрядно пострадала, мать три дня отпаивала меня молоком, а я дал себе зарок «никогда в жизни не брать этой отравы в рот». Увы, как заметил Баратынский:

Не властны мы в самих себе
И в молодые наши леты
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

С первым курсом связано также воспоминание о печальном завершении моей первой платонической любви, возникшей еще в эвакуации, в Омске, в 1945 году и носившей в основном придуманный эпистолярный характер. Его героиня Таня Ильина, поступившая в отличие от меня на истфак ЛГУ, ныне профессор Санкт-Петербургского государственного университета, автор многих известных книг по истории искусств.

Для чего храню на антресолях
Патефон с затупленной иглою
И пластинок довоенных пачку?
Никогда я слушать их не буду.
Все они, согласно этикеткам,
Сделаны Апрелевским заводом.
Тот завод давно уже закрылся,
Но своим мне памятен названьем,
Так же, как и Баковский, наверно.
Я пытался как-то на досуге
Оживить его стальную душу,
И крутил весьма усердно ручку,
Чтобы завести его. Когда-то
Заводили так автомобили.
Но пружина, видимо, ослабла,
А чинить никто и не берется.
Впрочем мне достаточно названий
Песенок на выцветших конвертах:
Перечту – и снова зазвучали.
Сорок пятый. Лето. Чернолучье —
Пионерский лагерь возле Омска,
И песчаный пляж на диком берегу
Иртыша. Не первая любовь,
А скорее – первая влюбленность.
Мне двенадцать, ей – едва за десять,
И зовут, конечно же, Татьяной.

Поцелуй? Боже упаси!
Только разговоры или вздохи.
Лето сорок пятого. А значит,
В Ленинград мне скоро возвращаться,
Ей же в Белоруссию. И письма
Шли шесть лет из Бреста в Ленинград
И обратно. Каждый адресат
Уверял другого в вечной дружбе,
Что с годами перейдет, быть может...
Помню, классе, кажется, в девятом,
Получил в письме я фотоснимок.
На крыльце сидит она. Коса
За плечо закинута, и грудь
Проступает явственно под блузкой.
Бешено заколотилось сердце,
И во рту внезапно пересохло.
Через пару лет она и вправду
Прикатила в Питер и учиться
Поступила в Университет
На истфак. Вот тут бы и расцвести
Вновь эпистолярному роману!
Но ее тогда я познакомил
Со своим приятелем случайно.
Был я первокурсник желторотый —
Он уже заканчивал второй
И носил горняцкую фуражку
С узким козырьком а-ля Нахимов
И высокой бархатной тульею,
Черного же бархата погоны
С золоченым вензелем литым
И изящной синей окантовкой.
Надевал он темные очки,
И, общественной согласно мерке,
Приобрел мужской изрядный опыт,
Так как регулярно посещал
«Мраморный» – весьма известный зал
Танцевальный в Кировском ДК,
Где происходили то и дело
Громкие разборки из-за женщин
Между горняками (общезитье
Наше было рядом – Малый, сорок)
И курсантами морских училищ,
Чаще с преимуществом последних,
В те поры ходивших с палашами.
Мой же опыт равен был нулю.
В этом месте можно ставить точку,
Потому что старая пластинка
С хрипотцой утесовской лукавой
Мне некстати вдруг напоминает:

У меня есть сердце, а у сердца —
Песня, а у этой песни – тайна.
Тайна же достойна умолчанья —
Да и патефон ведь неисправен.

Уже на втором курсе нашу специальность – «геофизические методы разведки полезных ископаемых» – перевели с геолого-разведочного на специально созданный геофизический факультет. По институту поползли таинственные слухи, что геофизиков будут зачислять на «совершенно секретную» специальность по поискам урана. Никакого понятия о ней мы, конечно, не имели, кроме того, что занимается ею совсем уже секретный Средмаш – Министерство среднего машиностроения под командой «сталинского наркома» Берии. Слухи эти, однако, довольно скоро приобрели вполне реальную основу. В число записавшихся попал и я. Нас пригласили в подвальное помещение, где за обшитой металлом дверью помещалось отделение «радиоактивной разведки», завели на нас обширнейшие анкеты и через некоторое время, приобшив к «форме номер два» и взяв подписки о неразглашении государственной тайны, зачислили на специальность «РФР» – «геофизические методы поисков радиоактивных полезных ископаемых». Мы, идиоты, попавшие на это «избранное» отделение, помню, еще радовались, совершенно не представляя, что нас ожидает в будущем.

Романтика секретности и государственной необходимости затуманивала наш разум. Особенно нам нравилось, что мы освобождались от обязательных для всех учебных воинских лагерей и получали офицерское звание «просто так». Здоровые и молодые, мы не задумывались всерьез о разрушительном действии радиации и на занятиях по технике безопасности беззаботно пошучивали. Тяжелое похмелье пришло гораздо позднее, уже после института, когда я узнал о безвременной смерти моих однокашников, попавших по окончании на престижную и высокооплачиваемую работу на урановые месторождения у нас и в Чехословакии. Пока же наша будущая специальность была неистощимым предметом различного рода сексуальных шуток. Мною даже была написана веселая песенка на мотив популярной тогда песни «Жил на свете золотоискатель» (слова которой, как выяснилось через много лет, принадлежат автору легендарной «Гренады» Михаилу Светлову), ставшая со временем трагикомическим гимном студентов нашей несчастной специальности:

На уран он жизнь свою истратил,
Много лет в горах его искал,
И от этой жизни в результате
Он свой громкий голос потерял.
Загрустил от этой он причины
И промолвил с горечью в словах:
«Я теперь уж больше не мужчина,
А всего лишь облако в штанах».

Сейчас, по прошествии многих лет, я не могу без ужаса петь пророческий последний куплет:

Он заплакал и пошел, рыдая,
Через реки, горы и поля,
И лежала перед ним большая,
Женщинами полная земля.

В 1997 году меня неожиданно пригласили на телевидение для участия в популярной тогда передаче «Старая квартира», которая на этот раз была посвящена 1955 году. Надо было вспомнить, что мы пели в том году и вообще в студенческие годы, когда авторской песни как будто еще и в помине не было. Сцена при этом должна была изображать непринужденную студенческую вечеринку середины 50-х. Режиссер решил, что уместно будет сварить пунш, столь популярный в наше время. Когда я спичкой поджег спирт, налитый в кастрюлю, пламя вспыхнуло с такой силой, что горящий спирт выплеснулся наружу, и пришлось гасить начавшийся пожар. Что же касается песен, то с гитарой в руках я вспомнил несколько песен из тех лет, включая «Глобус», «Бригантину» и «Закури, дорогой, закури».

Вернувшись домой, я вдруг подумал: а что мы вообще пели в начале нашей студенческой жизни, на первом и втором курсах, еще не соприкоснувшись с обширным экспедиционным фольклором и эковскими песнями? А пели мы то же, что и все – лирические песни «Ясной ночьюю весенней при луне...» или «Над туманами, над туманами огни терриконов горят» и другую подобную дребедень. Память о недавней войне одаривала нас героическими песнями этой уходящей в прошлое эпохи: «На позицию девушка», «Темная ночь» и «Вечер на рейде». И в то же время причастность к студенческому братству давала нам возможность с удовольствием окунуться в древний песенный мир буршей и студентов, который не имел и не имеет срока давности.

С одинаковым усердием, собираясь на нехитрые наши вечеринки, где, как правило, кутежи ограничивались сухим вином, мы распевали традиционные студенческие песни наших предков: «Крамбамбули», «Там, где Крюков канал и Фонтанка-река, словно брат и сестра, обнимаются», «В гареме нежился султан». При этом обязательно соблюдалась каноническая форма исполнения каждой песни с соответственным позвякиванием бокалов, хоровыми вопросами и ответами типа «Да я не пью! – Врешь, пьешь!» и другой звуковой аранжировкой. Сюда же, конечно, относятся и неизменные песни типа «Жены» («Холостую жизнью я извелся»), «Кисы-Мурочки», «В пещере каменной нашли пол-литра водки», «Я иду по Уругваю» и тому подобные. Все эти песни считались безымянными и народными. Тем большим было мое удивление, когда я узнал, что одну из наиболее популярных песен того времени с широко известными строчками:

Так наливай сосед соседке —
Соседка любит пить вино.
Вино, вино, вино, вино —
Оно на радость нам дано, —

написал ленинградский поэт Дмитрий Генкин, старший брат ленинградского барда Александра Генкина. Интересно, что блатной репертуар «Мурки» и других бытовавших в то время песен уголовного мира у нас не приживался.

Наряду с хоровыми лихими застольными песнями большой популярностью пользовались жестокие романсы и лирические песни из репертуара запрещенного тогда Петра Лещенко, «короля танго» композитора Оскара Строка и близкие к ним по духу. Сюда относились «Как блестят твои глаза», «Осень, прозрачное утро», «Журавли», «Я иду по далекой стране», «Зачем смеяться, если сердцу больно». Почти каждый из поющих, приобретший к тому времени свой собственный опыт первой (конечно, неудачной) любви, вкладывал в эти затертые строчки свой сокровенный смысл. Честно говоря, и сейчас, когда я вспоминаю строки этих душещипательных песен, они кажутся мне куда более содержательными, чем их современные аналоги в крикливом стиле рок-музыки. Тогда хоть не дергались и не выкрикивали. Однажды мне довелось посмотреть по телевидению программу, посвященную песням Лещенко. Выступал очень старый человек, его давний однокашник, и рассказал, что в начале своей артистиче-

ской карьеры Лещенко был, оказывается, танцором-чечеточником. «Удивительно, что он начал писать песни, – сказал он, – когда человек танцует, у него короткое дыхание, а для песни нужно длинное». Вот в чем различие текстов рок-музыки и авторской песни, идущей от романса и народных песен, – в дыхании! Интересно, что песни пели с одинаковым удовольствием все или почти все. Тогда еще не было деления на «мы» и «я», столь характерного для нынешнего времени.

Что пели мы в студенчестве своем,
В мальчишеском послевоенном мире?
Тех песен нет давно уже в помине,
И сами мы их тоже не поем.
Мы мыслили масштабами страны,
Не взрослые еще, но и не дети,
Таскали книги в полевом планшете —
Портфели были странны и смешны.
Что пели мы в студенчестве своем,
Когда, собрав нехитрые складчины,
По праздникам, а чаще без причины
К кому-нибудь заваливались в дом?
Питомцы коммуналок городских,
В отцовской щеголяли мы одежде,
И песни пели те, что пелись прежде,
Не ведая потребности в иных.
Мы пели, собираясь в тесный круг,
О сердце, не желающем покоя,
О юноше, погибшем за рекою,
О Сталине, который «лучший друг».
«Гаудеамус» пели и «Жену»,
И иногда, вина хвативши лишку,
Куплеты про штабного писаришку
И грозную прошедшую войну.
Как пелось нам бездумно и легко —
Не возратить обратно этих лет нам.
Высоцкий в школу бегал на Каретном,
До Окуджавы было далеко.
Свирепствовали вьюги в феврале,
Эпохи старой истекали сроки,
И темный бог, рябой и невысокий,
Последний месяц доживал в Кремле.

На многолюдных первомайских и ноябрьских демонстрациях, где колонна Горного института с огромным транспарантом из тяжелого красного бархата, украшенным изображением орденов, шла сразу же за колонной Балтийского завода, дружно пели «шахтерскую» песню:

Славься, шахтеров племя,
Славься, шахтерский труд!
Мы обгоняем время,
Сталин – наш лучший друг!

На демонстрации (явка для комсомольцев была обязательной) шли охотно, без понуканий. У меня в столе до сих пор завалилась фотография 1952 года, где два «отличника-зубрилы», два образцовых комсомольца, добившиеся самой высокой чести – нести на ноябрьской демонстрации транспарант, описанный выше, стоят с бледными от волнения лицами, вцепившись потными руками в толстые, покрашенные пачкающей ладони краской древки, перед внушительной воронихинской колоннадой родного института. Один из них я, а второй – ушедший из жизни несколько лет назад Костя Сергеев, член-корреспондент Академии наук и на протяжении четверти века бессменный директор Института морской геологии и геофизики на Дальнем Востоке.

Огромная колонна черных студенческих шинелей, расцвеченная женскими шубейками и пальто, картонными и фанерными изображениями терриконов и шахт, разноцветными шарами и букетами из огромных бумажных цветов, полыхающая начищенной по этому случаю медью институтского духового оркестра, медленно двигалась вдоль набережной Невы от 21-й линии к мосту Лейтенанта Шмидта по влажной и скользкой василеостровской брусчатке. Справа от нас, на хмурой осенней Неве, под порывами промозглого ноябрьского ветра раскачивались и дымили хищные эскадренные миноносцы, украшенные мокрыми флагами расцвечивания. Слева на панели толклась разношерстная публика, в которой шустро шныряли стайки шпаны в натянутых на уши «лондонских» кепках с «золотыми фиксами» из латуни во рту. Из открытых окон Высшего военно-морского училища имени Фрунзе махали руками курсанты, оставшиеся в этот праздничный день без увольнений. Справа, скрестив бронзовые руки на узкой адмиральской груди, смотрел под ноги идущим великий русский мореплаватель – немецкий барон Иван Федорович Крузенштерн.

На углу 8-й линии, где на набережную, мерцающую тусклой сталью, выскакивали скользкие, как змеи, трамвайные рельсы, колонна обычно останавливалась. Здесь в ряд стояли полуторки, открытые грузовики и фургоны с бортами, украшенными красным кумачом и словами «Сталину – слава». С них шла бойкая торговля водкой и нехитрой, но зато и недорогой закуской. Наиболее популярным видом бутербродов были так называемые «сестры Федоровы» – три кильки, положенные на ломоть черного хлеба. Через борта машин в наши протянутые руки легко вылетали баснословно дешевые в те времена «маленькие» и «мерзавчики». Если же в колонну попадала поллитровка, то она передавалась по шеренге слева направо. При этом каждый на ходу делал по глотку, а правофланговый выкидывал пустую бутылку. Еще вполне здравствующий тогда Верховный Главнокомандующий, «наш лучший друг», с огромного портрета, заслонявшего окно трех этажей на «Доме академиков» напротив въезда на мост Лейтенанта Шмидта, зорко смотрел прямо в глаза и в рот каждому из нас, чтобы никто не смел увернуться от обжигающего глотка водки и бодрого маршевого припева.

Время моей учебы в Горном институте совпало с драматическими событиями в истории страны. 53-й год начался «Делом врачей». Помню морозный мартовский день, переполненный актовый зал института, хмурые мужские лица и заплаканные глаза женщин. Огромная мраморная статуя вождя возвышалась над залом, где выступавшие клялись в верности сталинскому пути и обращались к правительству с просьбой присвоить институту имя Сталина. На следующее утро мы, второкурсники, всей группой отправились в конец Московского шоссе – тогда оно носило название проспект Сталина. Туда, где почти на выезде из города, около Средней Рогатки, стояли с обеих сторон проспекта бронзовые фигуры Ленина и Сталина. Путь был не близкий, на автобусе – метро еще в ту пору не было. С собою мы везли огромный венок, купленный на нищие студенческие стипендии. В полной тишине, сняв шапки, мы прислонили наш венок к заиндевевшему мраморному основанию памятника. Умерший вождь равнодушно смотрел теперь уже не в глаза каждому, а поверх наших голов, в сторону Пулкова, в лиловую морозную мглу, пропитанную бензиновой гарью. Через несколько лет, после XX съезда, ста-

тую с постамента сняли. Взорам всех приезжих, едущих из аэропорта в город, открывалась странная картина: Ленин, показывающий на пустой постамент напротив. Через какое-то время исчез и постамент, а потом убрали и осиротевшего Ленина.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.